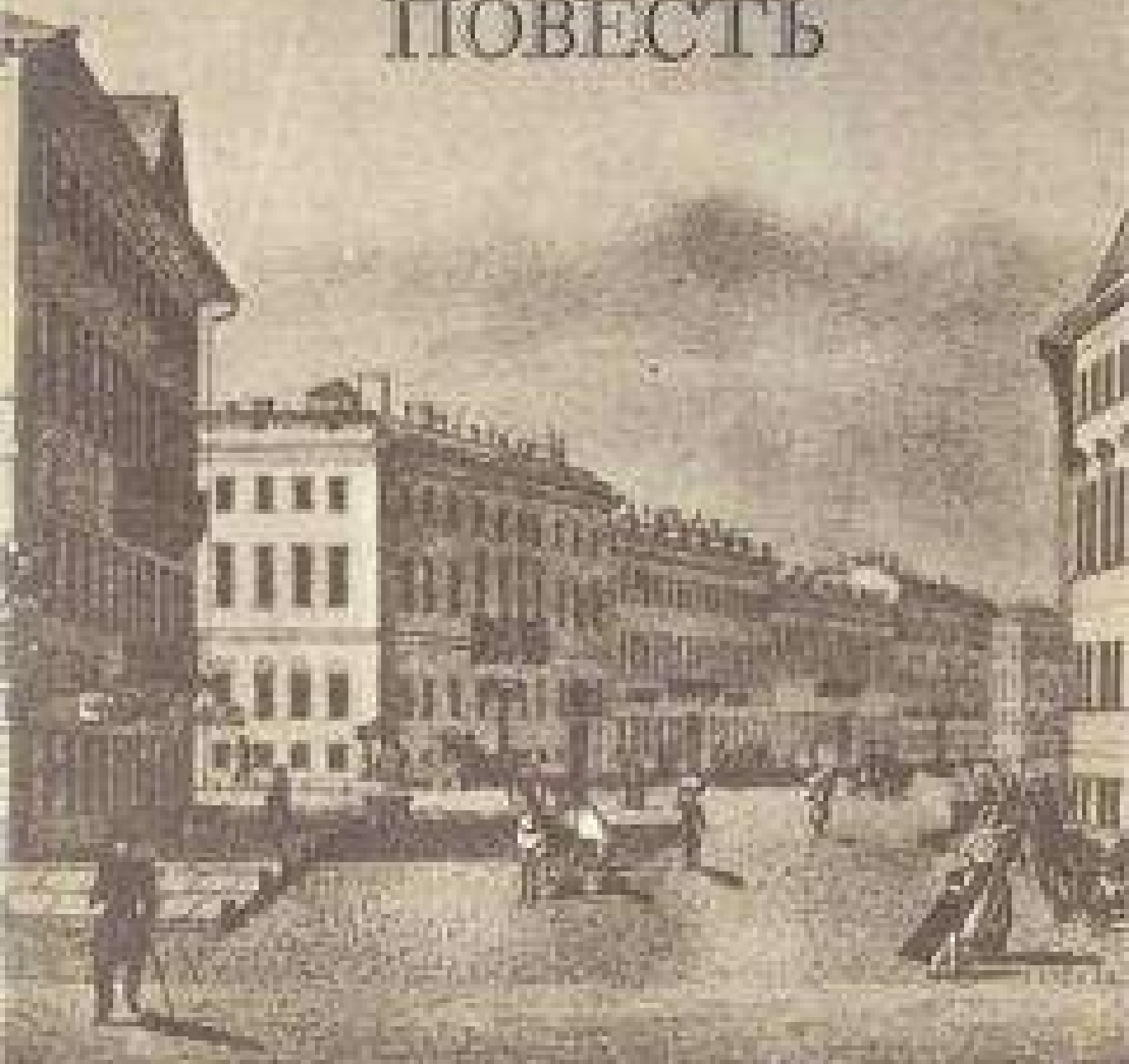


М. Басина

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ



Басина Марианна Яковлевна

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

«ПЕТЕРБУРГ МНЕ ПОКАЗАЛСЯ ВОВСЕ НЕ ТАКИМ, КАК Я ДУМАЛ»

Гоголь взял перо, почесал кончик носа, который был отморожен после недавнего путешествия, и написал в верхнем правом углу страницы: «С.-Петербург. Янв. 1829, 3 число».

Он мгновение помедлил и продолжал: «Я много виноват перед вами, почтеннейшая маменька, что не писал вам тотчас по моему прибытии в столицу. На меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки и ничего не делаю. Не от неудач ли это, которые меня совершенно обравнодушили ко всему».

Гоголь перечел написанное. Маменька, конечно, огорчится, но что поделаешь? Пусть лучше знает правду. А то у них там мнят о Петербурге, как о райском месте, где все только и делают, что предаются удовольствиям, и чины хватают с легкостью, на лету, прямо из воздуха.

У них там... Гоголь досадливо поморщился. Давно ли он сам страстно мечтал о блистательном Петербурге. Как он рвался сюда, как хотел поскорее окончить учение, обрести долгожданную свободу и очутиться в столице!

— Об чем я теперь думаю, — делился он с матерью, — так это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству.

Он жадно выпрашивал всех приезжающих — каков Петербург, каковы в нем дома, улицы, театры. И, понаслушавшись, думал с веселостью: «Сколько в Петербурге домов, памятников, иллюминаций, пожаров, наводнений, тезоименитств, а виды с Васильевского острова!..» Зима в Петербурге.

Литография П. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е годы.

И вот Нежинская гимназия высших наук окончена. Гоголь несколько месяцев пожил дома, в родной Васильевке, а в декабре 1828 года, девятнадцати лет от роду, решил ехать в Петербург.

Нашелся и попутчик — Александр Данилевский. Они были соседями, вместе росли, учились в Нежинской гимназии и теперь решили вместе отправиться на поиски счастья. Красивый, рослый юноша, Данилевский мечтал о военной карьере, хотел поступить в школу гвардейских подпрапорщиков.

Выправили подорожную, чтобы менять на почтовых станциях лошадей, и в помещительной кибитке, сверху донизу набитой разной домашней снедью, выехали из Васильевки.

Был с ними третий — крепостной человек Гоголей — Яким. Мария Ивановна не захотела отпустить своего Никошу одного, а Яким хоть и молодой, но степенный и может исправлять при паниче должность лакея и повара.

Мария Ивановна недалеко проводила сына и, снабдив путешественников многочисленными наставлениями, грустная воротилась домой.

Грустно было и Гоголю расставаться с матерью, сестрами, но грусть быстро развеялась, и всего его без остатка захватило нестерпимое желание поскорей попасть в Петербург. Ни о чем другом он не мог думать.

Ехали через Нежин, Чернигов, Могилев, Витебск. И чем ближе подъезжали к месту назначения, тем сильнее росло любопытство.

И вот, наконец, показался Петербург.

Дело было вечером. Сквозь морозную дымку замелькали бесчисленные огни столицы.

Невообразимое волнение охватило юных путников. Особенно волновался Гоголь с его пылким воображением.

Несмотря на жестокий мороз, молодые люди то и дело высовывались из кибитки, становились на цыпочки, чтобы лучше разглядеть приближающийся город. В результате Гоголь простудился, схватил насморк и, что самое обидное, отморозил нос.

Дальше началась настоящая фантасмагория. Будто кто-то злобный в насмешку открыл ящик Пандоры — и из него посыпались неудачи и разочарования.

Начать с того, что Николай Гоголь ехал в столицу с твердым намерением поступить на государственную службу.

Нет, он не собирался заделаться жалким чиновником, этаким чернильной душой вроде тех «существователей», на которых насмотрелся в Нежине. У него были иные планы. Недаром, собираясь в Петербург, прощаясь с соседкой Софьей Васильевной Капнист, дочь известного писателя, Гоголь сказал:

— Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее.

В глубине души он надеялся на последнее.

Еще будучи мальчиком, Никоша Гоголь мечтал совершить что-нибудь выдающееся, что-то хорошее и важное для блага человечества. Самолюбивый и скрытный, он таил это про себя — боялся насмешек. Но от мечты не отступился.

В последних классах гимназии, слушая лекции профессора Белоусова, студент Гоголь-Яновский все больше интереса проявлял к юстиции. Что может быть благороднее борьбы с неправосудием... «Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. — Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества».

С такими мыслями и намерениями ехал Гоголь в Петербург. На Дворцовой площади. Зима.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

Беспокоясь о сыне, заботливая Мария Ивановна попросила своего свойственника Дмитрия Прокофьевича Трощинского, жившего по соседству, отписать кому-нибудь из влиятельных особ в Петербурге и рекомендовать Никошу.

Дмитрий Прокофьевич — министр в отставке, человек известный, важный, просьбу выполнил.

И хотя Гоголь считал, что обойдется без покровителей, ему было строго-настрого наказано тотчас же по прибытии в столицу явиться к генерал-лейтенанту Логгину Ивановичу Голенищеву-Кутузову. А о дальнейшем, мол, можно не тревожиться. Все делается само собой.

Так располагала Мария Ивановна. Она не сомневалась, что Никоша с его талантами быстро пойдет в гору. Пример перед глазами — Дмитрий Прокофьевич. И он начинал бедным дворянчиком, а ныне — вельможа. Еще при Екатерине вышел он в статс-секретари. Шутка сказать — сделался секретарем при особе самой государыни! При Павле был он сенатором. При Александре — министром Уделов и членом Государственного совета.

Мария Ивановна в мечтах тоже видела Никошу министром. Только бы слушался, только бы не умничал.

На первых порах Гоголь послушался. Приехав в Петербург, отправился с письмом Трощинского к Голенищеву-Кутузову. Но оказалось, что тот опасно болен и, само собой разумеется, посодействовать не может.

Потолковав кое с кем и расспросив про вакансии, молодой провинциал не замедлил убедиться, что не он один приехал попытать счастья в столице, что подобных ему хоть пруд пруди и что определиться к месту, даже самому маловажному, дело долгое и хлопотное. Садовая улица, угол улицы Гороховой.

Литография К. Бегрова по рисунку К. Сабата и С. Шифляра. Фрагмент. 1820-е годы.

Пришлось сообщить о неудачах маменьке. И не только о служебных.

Мечтая о Петербурге, Гоголь всегда представлял себя в веселой светлой комнате окнами на Неву. Но, как быстро выяснилось, в особняках на набережной жили люди богатые. А им с Данилевским пришлось довольствоваться убогой квартиркой на Гороховой улице.

«Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы. Жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру мы плотим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы также не дешевы».

Захваченное из дому приели быстро. И когда Яким вернулся с ближайшего Сенного рынка, то зловеще объявил, что в здешней стороне (ну, слыханное ли дело?) картошку и репу продают не на пуды, а на... десятки. Десяток репок — тридцать копеек.

Да, другим, совсем другим представлялся ему Петербург...

Он-то мечтал: приедет — и сразу в театр. Будучи в гимназии, он выспрашивал в письмах своего друга Высоцкого, уехавшего в столицу: «Ты мне мало сказал про театр, как он устроен, как отделан. Я думаю, ты дня не пропускаешь, — всякий вечер там». И Гоголю виделось — он тоже в театре, в креслах. На нем синий фрак с металлическими пуговицами, сшитый у лучшего портного по последней моде.

И это не сбылось. Приехал, огляделся, не захотел быть посмешищем, побежал к портным.

А у них цены, цены... Приделся кое-как и остался без денег. А без денег в Петербурге никуда не сунешься.

«Это все заставляет меня жить, как в пустыне, — продолжал он свое письмо, — я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду

ходить часто, а это для меня накладно, т. е. для моего неплотного кармана».

Гоголь приписал еще несколько строк и поставил точку. Больше писать не хотелось.

«Извините... Не могу более писать. На первый раз довольно. Ваш покорнейший, на век вам преданный сын Н. Гоголь.

Адрес мой III-й Адмиралтейской части на Гороховой улице подле Семеновского моста в доме купца Галибина под № 130».

Гоголь запечатал письмо и велел Якиме отнести его на почту. Бывший дом Галибина на Гороховой улице (улица Дзержинского, 42).

Фотография. 1973 г.

«КАК БЫ ДОБЫТЬ ЭТИХ ПРОКЛЯТЫХ, ПОДЛЫХ ДЕНЕГ»

Узнав из письма сына о болезни Голенищева-Кутузова, Мария Ивановна посоветовала не тревожить болящего. На что Гоголь ответил: «Вы мне советуете не беспокоить Логгина Ивановича моим определением: оно бы и хорошо, когда бы я мог ничего не есть, не нанимать квартиры и не изнашивать сапог, но так как я не имею сих талантов, то есть жить воздухом, то и скучаю своим бездействием, сидя в холодной комнате и имея величайшее несчастье просить у вас денег, зная теперешние ваши обстоятельства».

Деньги... Это слово преследовало его с раннего детства. Гоголи не были бедны. Имение в Полтавской губернии — более тысячи десятин земли, четыреста крепостных душ. Но беда заключалась в том, что имение давало мало дохода. Продавать зерно, фрукты, скот было некому. Папенька Василий Афанасьевич завел винокуренный заводик, но и это не спасало. Денег не было. Не имелось даже средств учить Никошу. И если бы не «благодетель» — Дмитрий Прокофьевич, который похлопотал, чтобы мальчика перевели в гимназии на казенное содержание, — неизвестно, получил ли бы Гоголь порядочное образование. Ведь за учение и пансион надо было платить 1200 рублей в год.

Деньги... В гимназии его мучило вечное отсутствие денег. Он то и дело просил родителей: «Да еще пришлите пожалуйста деньги портному, который мне каждый день надоедает. Вы не поверите, как страшно иметь заимодавца. Я ему должен за пошитые сертука 10 рублей». «Ежели угодно вам будет, чтоб я учился танцевать и играть на скрипке и фортепиано, так извольте заплатить 10 рублей в месяц. Я уже подписался хотевши учиться на сих инструментах так же и танцеванию, но не знаю как вам будет угодно». «Ежели вы можете, то пришлите мне 10 рублей на книгу, которую мне надобно купить, под заглавием Курс русской словесности».

Деньги... Чем взрослей он становился, тем тягостней было выпрашивать каждый грош. Особенно после смерти отца, когда на руках у матери остались кроме него еще четыре дочери: мал мала меньше.

Гоголь видел, как собирала Мария Ивановна те несколько сот рублей, с которыми отправила его в Петербург. И опять мольбы о помощи.

Но что он мог поделаться один в чужом городе? Бывало, в Нежине, в пансионе, когда жилось голодно, можно было отписать домой, чтобы прислали из Васильевки провианта: свиного сала, домашних колбас, любимого лакомства — сушеных вишен без косточек. А тут не отпишешь. Весна на Неве.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

Надежда на протекцию лопнула. Старик Троцинский умер. А Голенищев-Кутузов, хоть и выздоровел, ничем не помог. И Гоголь понял, что в устройстве своей дальнейшей судьбы может рассчитывать лишь на самого себя.

Между тем его первая зима в Петербурге подходила к концу. Наступила весна, если справедливо назвать весною хмурое неприветливое небо, тусклое солнце и голые деревья. Как все это отличалось от его родной Украины! Здешняя весна напоминала худосочную бледную петербургскую барышню.

И все же Гоголь радовался теплым дням, которые как бы нехотя природа дарила столице. Он не мог похвастать выносливостью, крепким здоровьем и изрядно мерз в своей легкой шинели. Холода приковывали к дому. Теперь же сделались возможны длительные прогулки, и Гоголь получше рассмотрел Петербург.

Увиденное озадачило. Город и его жители показались удивительно странными. «Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их».

Можно только удивляться, с какой пронизательностью юный провинциал, без году неделя проживший в Петербурге, уловил самую суть духовной жизни столицы.

Да, все здесь было подавлено, зажато, задушено, забрано в тиски. После трагических событий 14 декабря 1825 года духовный облик города разительно изменился. Пять виселиц на кронверке Петропавловской крепости и фигура жандарма в голубом мундире стали эмблемой нового царствования. Вступив на престол, царь Николай первым делом расправился с мятежниками-декабристами и учредил корпус жандармов для поддержания спокойствия.

Это был странный город со странными порядками. Вид со стрелки Васильевского острова на Дворцовую набережную.

Литографы я.

1820-е годы.

Ранним утром, когда одни его обитатели вставали, другие ложились спать. По вечерам, когда в Коломне и на Петербургской стороне готовились отойти ко сну, в Адмиралтейских частях выезжали с визитами. Одни карабкались к себе под крышу, другие селились не выше второго этажа, чтобы никто не мог сказать:

— Я к нему не хожу — он живет слишком высоко.

Одни довольствовались обносками, приобретенными за гроши на толкучем рынке, другие носили на себе целые состояния и готовы были прозакладывать душу дьяволу, лишь бы одеваться у модного портного. На столичной окраине.

Литография. Фрагмент. 1820-е годы.

И развлекались здесь как-то странно: бездумно, нелепо, как заводные куклы, которых приводит в действие хитрый механизм. Взять хотя бы самое большое Екатерингофское гулянье, которое бывало первого мая. Оно заключалось в том, что гуляющие садились в кареты и длинной вереницей, растянувшейся более чем на десять верст, двигались друг за другом, под присмотром полиции. Они двигались так тесно, что лошадиные морды задней кареты «дружески целовались» с разодетыми гайдуками на запятках передней кареты.

Случались заторы. Тогда часами дожидались, пока полиция не восстановит строй карет и не разрешит двинуться дальше. И все это для того, чтобы объехать вокруг Екатерингофа, наглотаться пыли и тем же способом возвратиться обратно, не выходя из карет. Екатерингофское гулянье.

Гравюра К. Гампельна. Фрагмент. 1820-е годы.

Подобные развлечения не привлекали Гоголя. Он предпочитал им одинокие прогулки. Зная интерес Марии Ивановны к Петербургу, рассказывал в письмах о том, что видел. Писал, что Петербург велик, и если гулять по его улицам, площадям, островам в разных направлениях, то можно пройти верст сто. Дома в главных частях большие, но не очень высокие — в три, четыре этажа, редко — в пять.

Жил Гоголь теперь не на Гороховой улице. Еще зимою он и Данилевский перебрались на Екатерининский канал, в дом аптекаря Трута. А весной Гоголь, уже один, поселился на Большой Мещанской в четырехэтажном доме, принадлежавшем каретному мастеру Иохиму.

Название улицы — Мещанская — говорило само за себя. Здесь не было ни дворцов, ни особняков, ни садов с решетками. В воздухе летали дым и копоть, из-под ворот тянуло какой-то дрянью, и все это смешивалось с запахом тушеной капусты — обычного блюда здешних обитателей. Дома пестрели вывесками, на которых неведомые живописцы не слишком искусно, но с большим старанием изображали сапоги, часы, кренделя, корсеты, замки с ключами, панталоны, фраки и тому подобное. Большую Мещанскую населяли мелкие лавочники, немцы-ремесленники, чиновники средней руки.

Дом, где в четвертом этаже, под самой крышей, снял квартирку Гоголь, был тоже весь облеплен позолоченными вывесками, оповещающими, что здесь находится мелочная и табачная лавочки, кондитерская, заведения двух портных, модистки, красильщика, чулочника, реставратора битой посуды, магазин сбережения зимнего платья, а также привилегированная повивальная бабка.

С раннего утра на Большой Мещанской начиналась хлопотливая трудовая жизнь. И, наблюдая ее, Гоголь невольно думал о том, что и он сам не без рук и что в крайнем случае смог бы заработать кусок хлеба таким же способом, как и его соседи. Еще из Нежина он писал своему двоюродному дядюшке Петру Косяровскому: «Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маменьки».

Его решение жить своим трудом и самому пробить себе дорогу в жизни было непоколебимо, несмотря на все неудачи и трудности. Красный мост через Мойку.

Акварель неизвестного художника. 1820-е годы. Бывший дом Иохима на Большой Мещанской улице (улица Плеханова, 39).

Фотографии. 1973 г.

Хотя большая часть имения принадлежала ему, он и в мыслях не имел сделаться помещиком. Уезжая в Петербург, заявил матери, что хочет отказаться в ее пользу от своей доли наследства. Мария Ивановна рассказывала в письме к Косяровскому: «Я догадываюсь, не писал ли мой Никоша к вам насчет имения... Назад тому месяца два он меня удивил, убеждая позволить записать мне свою часть имения, уверяя при том, что это будет полезно и даже необходимо для спокойной моей жизни, на случай, если я не буду иметь добрых зятей, а он, может быть, будет слишком далеко от меня, и сим поступком тронул меня до слез».

Единственно, о чем просил Гоголь мать, — помогать ему, пока он не встанет на ноги. В душе

он дал себе слово сделать все возможное, чтобы приблизить это время. И, очнувшись от краткого оцепенения, в которое ввергли его неудачи, энергично принялся за поиски дела. Какого? Он весьма туманно писал об этом Марии Ивановне. Сообщал, что собирается «приняться за ум, за вымысел», чтобы «добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире».

СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ

Что же имел в виду Гоголь, когда собирался «приняться за ум, за вымысел»? Несомненно, сочинительство.

До приезда в Петербург он не помышлял стать писателем, хотя книги любил с детства. Они были его страстью. Когда его не брали домой на рождественские каникулы, он, чтобы не скучать и скоротать время, просил прислать ему «хоть несколько книжек на прочет». Собираясь летом домой в Васильевку, старался заполучить на дорогу хорошие и новые книги.

Особенно пристрастился он к чтению в старших классах. Почти все свое небольшое «жалование», присылаемое матерью, тратил на книги. «Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах с тем, чтобы иметь хотя малейшую возможность... удовлетворить моей жажде видеть и чувствовать

прекрасное».

Каждая хорошая книга была для него праздником. Как он радовался, когда смог на отложенные деньги выписать Шиллера! Он хотел бы выписывать все лучшее, о чем извещали газеты и журналы, но... «Разумеется, что я ограничиваюсь одним только чем-либо, и в целые полгода я не приобретаю более одной книжки и это меня крушит чрезвычайно... Иногда читаю объявление о выходе в свет творения прекрасного, сильно бьется сердце — и с тяжким вздохом роняю из рук газетный листок объявления, вспомяв невозможность иметь его».

Мария Ивановна жаловалась:

— Когда выйдет новая книга, по названию многообещающая, то Никоша готов выписать ее из чужих краев. Он и делает это из выпрошенных у меня на платье денег. Я называю сию охоту страстью. Она хоть не постыдна, как карточная, но тоже может разорять. Гоголь незадолго до окончания гимназии.

Гравюра с неизвестного оригинала. 1827 г.

Гимназическая библиотека была небогата. И не удивительно. Профессор словесности Никольский имел весьма смутное представление о древней и западной литературе. По вкусам же в российской застрял где-то во временах Сумарокова. Даже. Державина почитал он за нового писателя. А про более молодых и говорить нечего. Он их не признавал.

Желая подшутить над Никольским, ученики его выписывали из альманахов и журналов стихотворения Пушкина, Вяземского, Языкова, приносили профессору и, выдавая за свои, просили оценить.

Начиналась потеха.

Никольский читал, хмурился, сетовал: стихи-то гладки, да толку мало.

— Ода не ода, элегия не элегия, а черт знает что, — ворчал он сердито и начинал исправлять.

Однажды Гоголь подал ему за свое стихотворение Пушкина «Демон». Никольский прочел, поморщился и, по обыкновению, принялся переделывать. Когда вконец изуродовал, вернул со словами:

— Стыдно, молодой человек, так плохо писать.

— Да ведь это не мои стихи-то.

— А чьи?

— Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что вам ничем не угодить. Вы вот даже и Пушкина переделали.

— Ну что ты понимаешь! — воскликнул профессор. — Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство. Вникни-ка, у кого лучше вышло.

Студенты не разделяли вкусов профессора.

Но где же добывали они альманахи, журналы и другие новые книги?

Всем, как и Гоголю, присылали из дому деньги; тогда в складчину на свои небольшие средства выписывали из Москвы и Петербурга различные издания, творения лучших писателей. Просили книги у родных. Привозили из дому.

Так составила студенческая библиотека.

Библиотекарем выбрали Гоголя. Он чрезвычайно ревностно относился к своим обязанностям. Ввел строгие правила. Берег книги как драгоценность.

Каждого читателя усаживал на определенное место в классной зале, затем собственноручно обертывал ему бумагой большой и указательный пальцы — чтобы не пачкал страницы — и лишь после этого вручал книгу.

Любимым чтением самого библиотекаря были поэмы Пушкина. «Вы писали про одну новую Балладу и про Пушкина поэму Онегина; то прошу вас, нельзя ли мне и их прислать», — писал Гоголь домой.

Чтобы иметь всегда у себя поэмы Пушкина «Цыганы», «Братья разбойники», главы «Онегина», которые выходили отдельными книжечками, Гоголь тщательно переписывал их на лучшей бумаге и украшал рисунками.

Он и сам попробовал сочинять. Начал со стихов. Еще в первых классах гимназии сочинил балладу «Две рыбки». Под двумя рыбками разумел себя и своего младшего брата Ивана. Иван умер. По рассказам товарищей, баллада была трогательная. Написал он стихами трагедию «Разбойники», сочинил повесть «Братья Твердиславичи». Было и веселое — эпиграммы на товарищей, сатира «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан».

Он любил шутить и умел придумывать смешное.

«Еще бывши в школе, чувствовал я временами расположение к шутливости и надоедал товарищам неуместными шутками, — вспоминал Гоголь. — Но это были временные припадки; вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению».

Склонность к размышлениям сказалась и на юношеских сочинениях Гоголя.

Плодом таких размышлений была стихотворная идиллия в картинах «Ганц Кюхельgarten».

Гоголь начал ее писать незадолго до окончания гимназии. Он привез тетрадь с идиллией в Петербург и, отыскивая способ добыть средства к существованию, задумал издать ее отдельной книжкой.

Как раз в это время ему предлагали какое-то место в канцелярии, но он понадеялся на лучшее и отказался. Круг чтения Гоголя-гимназиста.

«ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН»

В своего «Ганца Кюхельгартена» Гоголь вложил много души. Правда, не легко было втиснуть в стихотворную форму то, что волновало его, но он пытался.

Ему казалось душно, пыльно

В сей позаброшенной стране;

И сердце билось сильно, сильно

По дальней, дальней стороне.

До поры до времени юный мечтатель Ганц спокойно жил у себя дома в немецкой деревушке. Он был влюблен во внучку деревенского пастора Луизу и любим ею. Казалось, их ждет безмятежное счастье. Но с некоторого времени Ганц загрустил, на него напала тоска, ему захотелось иной доли. И он решил уйти из дому.

Все решено. Теперь ужели

Мне здесь душою погибать?

И не узнать иной мне цели?

И цели лучшей не сыскать?

Себя обречь бесславыю в жертву?

При жизни быть для мира мертву?

Ганц тайком покидает родину.

Минует два года. Что делает герой Гоголя на чужбине — неизвестно. Известно лишь то, что мечты его разбиты, он обманут, измучен и едва живой возвращается в родные края. Верная Луиза ждет его. И измученный Ганц обретает счастье в кругу любящих, простых, бесхитростных людей.

Да, для того чтобы выбиться из безвестности, мало одного хотенья. Нужно нечто большее.

Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознания,
В поре могучих сил своих,
Тот, небом избранный постиг
Цель высшую существованья;
Когда не грез пустая тень,
Когда не славы блеск мишурный
Его тревожит ночь и день.
Его влекут в мир шумный, бурный;
Но мысль и крепка и бодра
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра.

У Ганца не было ни ясной цели, ни «железной воли». Таким, как он, лучше сидеть дома и «семьей довольствоваться скромной».

Идиллия была романтическая — со страшным сном, ночными видениями, мертвецами, кладбищем. И вот с нею-то и задумал Гоголь познакомить читающую публику.

Решиться на этот шаг было не так-то просто. Молодой автор и сам понимал, что возможна неудача. До сих пор его творения, которые помещал он в гимназических журналах, восторгов не вызывали. Но доморощенным судьям он не очень доверял. В Петербурге — другое дело. А на случай неудачи здесь можно обезопасить себя, укрывшись под псевдонимом.

Гоголь так и сделал. Псевдоним себе придумал —

В. Алов. И сочинил еще предисловие от имени мнимых издателей. «Издатели» сообщали, что «предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к тому», что «Ганц» — произведение «восемнадцатилетней юности» и они, издатели, гордятся тем, что помогли публике «ознакомиться с созданием юного таланта». «Ганц Кюхельgarten».

Титульный лист.

Псевдоним придуман, предисловие написано. Осталось заняться практической стороной дела.

Седьмого мая 1829 года в Петербургский цензурный комитет поступила рукопись «на 36 листах под заглавием „Ганц Кюхельgarten“, идиллия в картинах, писана в 1827, соч. Алова, от студента Гоголь-Яновского».

Рукопись сразу же была одобрена — ничего предосудительного цензор в ней не обнаружил — и возвращена «издателю».

Между прочим, за рукописью Гоголь послал Якима. Сам идти побоялся. А вдруг не разрешат?

Но все сошло благополучно. Теперь — в типографию.

В Петербурге имелось несколько типографий. Гоголь выбрал одну из самых известных — Плюшара.

Типография Плюшара помещалась на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы в огромном доме Косиковского. Самого типографщика уже не было в живых, и делами заправляла его вдова. Бывший дом Косиковского на Невском проспекте (Невский пр., 15)

. Фотография. 1971 г.

Недоверчиво оглядев скромно одетого молодого человека с тощей тетрадкой в руках, вдова Плюшар заявила, что для напечатания идиллии нужны деньги.

«... Я принужден снова просить у вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более, дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь, тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо нужно теперь триста рублей».

Деньги из Васильевки были получены, и печатание «Ганца» пошло полным ходом.

Гоголю не терпелось поскорей выпустить в свет свою идиллию. Узнав, что «Ганц» отпечатан, он тотчас же обратился к цензору Сербиновичу: «Издатель идиллии Ганца Кюхельгартена просит усерднейше вас, если только принесут из типографии ее сегодня, сделать ему величайшее одолжение, если только это не обеспокоит вас, ускорить выдачу билета на выпуск в продажу».

Билет за № 481 был выдан пятого июня, и «Ганц Кюхельгартен» поступил в продажу.

Волнуемый попеременно то страхом, то надеждой, Гоголь притаился и ждал, что скажут публика и критика. Полицейский мост через Мойку по Невскому проспекту. Справа — дом Косиковского.

Литография И... Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е годы.

БЕГСТВО

Толков в публике никаких не объявилось по той простой причине, что «Ганца Кюхельгартена» никто не покупал. А вот мнения критики не пришлось долго ждать.

Недели через три после появления идиллии в журнале «Московский телеграф» напечатан был о ней следующий отзыв: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии».

Не прошло и месяца — еще сюрприз. В петербургской газете «Северная пчела» — заметка о «Ганце Кюхельгартене», которая кончалась словами: «...свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом, не лучше ли б было докидаться от сочинителя чего-нибудь более зрелого, обдуманного и обработанного».

Гоголь читал и перечитывал насмешливые строки. Как больно они ранили его самолюбие! Неудачи, одни неудачи...

Желание бежать без оглядки из этого холодного бездушного города охватило его с непреодолимой силой.

Прочь, прочь отсюда! Не видеть больше этих домов, проспектов, мишурных мундиров, самодовольных лиц... Здесь юноша с благородной душой и жаждой добра не может найти себе достойного поприща!

Бежать, но куда? Назад в Васильевку? Уезжая, он обещал матери, что пройдет года три и он вернется за нею, чтобы увезти ее в столицу. Он говорил:

— Вы осчастливите меня, вы больше не оставите меня никогда, вы будете моим ангелом-хранителем.

Как, с какими глазами вернется он в Васильевку? И для чего?

Нет, ни за что на свете он не поедет домой и здесь не побежит выпрашивать грошовое место. Что же он сделает? Пойдет наперекор всему — обстоятельствам, здравому смыслу, денежным возможностям, всему, перед чем гнут спину жалкие «существователи». Недаром он чувствовал в себе «страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности». Он... Он уедет за границу.

«Итак я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много. Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами».

Пропуск ему выдали, но денег на поездку не было ни гроша. Он совершенно не представлял, как осуществить свое дерзкое предприятие. И тут сама судьба посодействовала ему. Мария Ивановна прислала довольно крупную сумму для уплаты процентов в Опекунский совет за заложенное имение. Гоголь тотчас же выяснил, что возможна отсрочка, и взял деньги себе.

Совесть мучила его, он понимал, что ставит мать в нелегкое положение, но лихорадочное желание уехать из Петербурга было сильнее всего.

Чтобы как-то возместить взятое, он послал матери доверенность на свою часть имения, давая этим право «заложить его, подарить и проч. и проч.». Проспект Майорова (бывший Вознесенский).

Фотография. 1973 г.

Как же он объяснял свой внезапный отъезд? Рассказал про неудачу с «Ганцом Кюхельгартеном»? Ничуть не бывало. О своей идиллии и словом не обмолвился. Он боялся, что мать не поймет его, осудит, и придумал романтическую историю несчастной любви. «Маменька! Дражайшая маменька!.. Одним вам я только могу сказать... Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не к стати для нее. Ангел — существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, а живущее мыслями в одном небе. Но нет, болтаю пустяки и не могу выразить ее.

Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгучего проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков... Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей... В порыве бешенства и ужасающих душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом... Но, ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока».

Он умолял мать не огорчаться и не бояться разлуки — этот «перелом» ему необходим.

Перед отъездом Гоголь решил окончательно разделаться с «Ганцем Кюхельгартенем». Верный себе, проделал это втайне. Снял на один день номер в гостинице «Неаполь», что на Вознесенском проспекте, взял с собой Якима и вместе с ним обошел все книжные лавки, где продавалась идиллия. Они отбирали у книгопродавцев экземпляры «Ганца» и сносили их в гостиницу.

Когда последние книжки были принесены, Гоголь отослал Якима и затопил камин. Он ушел из гостиницы лишь тогда, когда гряда книг превратилась в серый пепел.

Передав свою квартиру в доме Иохима гимназическому другу Николаю Прокоповичу и ему же поручив попечение о Якиме, Гоголь сел на пароход и уехал в Любек. Он взял у Данилевского шубу и «несколько белья, чтобы не нуждаться в чем». При этом намекнул, что, возможно, вдали от России осуществит свои планы и добьется признания. Пароход идет в Кронштадт

. Литография. 1820-е годы.

И Марии Ивановне, и товарищам Гоголя его внезапный отъезд представлялся сумасбродством. По-своему они были правы, так как подходили к Гоголю с обычной меркой, но обычная мерка в данном случае не годилась. Пройдет несколько лет, и такой тонкий ум, как Сергей Тимофеевич Аксаков, скажет: «Мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных».

«Я ЖЕЛАЛ БЫ ПОСТУПИТЬ В ТЕАТР»

Гоголь пробыл за границей недолго. Как-то в конце сентября Прокопович, возвращаясь домой от приятеля, столкнулся на Большой Мещанской с Якимом. Тот шел к булочнику с салфеткой в руках. Завидев Прокоповича, он ухмыльнулся.

— Гости у нас, — объявил он таинственно.

И верно, поднявшись к себе на четвертый этаж, Прокопович увидел в квартире Гоголя. Он посвежел, поздоровел, но был чем-то взволнован.

С дороги он аккуратно писал матери, просил отвечать на адрес Прокоповича — тот будет пересылать. И теперь его ждало письмо из дому. Но какое... Очевидно, кто-то порассказал Марии Ивановне о столичных соблазнах, и она вообразила, что Никоша сбился с пути, пустился во все тяжкие, попал под влияние дурной женщины, предался пьянству. В. А. Гоголь, отец писателя.

Портрет работы неизвестного художника. 1810-е годы.

«С ужасом читал я письмо ваше, пущенное 6-го сентября. Я всего ожидал от вас:

заслуженных упреков, которые еще для меня слишком милостивы, справедливого негодования и всего, что только мог вызвать на меня безрассудный поступок мой... Но этого я никогда не мог ожидать...»

Гоголь был оскорблен. С жаром доказывал несостоятельность подозрений. Да, он виноват. Но ничего гнусного не совершал. Что же касается дальнейшего, он будет трудиться, упорно трудиться.

Подробно мать в свои планы не посвящал. Умолчал о том, что задумал идти на сцену.

Для такого решения имелись основания.

По отзывам товарищей и всех видевших его на гимназической сцене Гоголь обладал замечательным актерским дарованием.

Товарищи говорили:

— Если ты пойдешь на сцену, из тебя выйдет второй Щепкин. Театр с детских лет завладел его воображением. Впервые театральные представления маленький Никоша увидел в Кибинцах — богатом имении Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Будучи вельможей, Трощинский жил как вельможа, теша себя затеями, доступными богатому барину. В Кибинцах завел он оркестр, построил домашний театр, декорации для которого привозили из Полтавы.

Душою театра был отец Гоголя Василий Афанасьевич, обладавший всеми нужными для этого талантами: он пел, играл на фортепьяно, сочинял комедии и сам их ставил на сцене.

В хлебосольном доме Трощинского постоянно бывали гости. Живали подолгу, развлекаясь и увеселяя именитого хозяина. В спектаклях участвовали не только дворовые, но и «благородные»: в их числе Василий Афанасьевич и Мария Ивановна.

Мария Ивановна была хороша собой, и ее миловидное личико украшало сцену.

Специально для домашнего театра Трощинского Василий Афанасьевич написал две комедии на украинском языке: «Собака-овца» и «Простак».

На каникулах Гоголь с родителями бывал в Кибинцах и среди прочих увеселений видел театр.

Однажды, вернувшись после каникул в Нежин, он привез пьесы отца и уговорил товарищей разыграть их на сцене.

С тех пор в Нежинской гимназии началось повальное увлечение театром.

Несмотря на противодействие некоторых профессоров, начальство поощряло это занятие, только требовало кроме русских пьес ставить французские и немецкие, чтобы лучше овладеть иностранными языками.

Но неизменными фаворитами юных актеров были, конечно, российские авторы: Сумароков, Озеров, Фонвизин, Княжнин, Крылов.

Театр занимал Гоголя не меньше, чем книги. Он сочинял в драматическом роде, рисовал декорации, участвовал в спектаклях. «Ежели можете, то пришлите мне полотна и других пособий для театра, — писал он домой. — Первая пьеса у нас будет представлена „Эдип в Афинах“ трагедия Озерова... Так ежели можно прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть и один, но лучше ежели бы побольше... Как же я сыграю свою роль, о том я вас извещу».

Костюмы шили сами. Для спектаклей жертвовали кто что мог. Кто-то даже притащил пару ржавых пистолетов.

Среди актеров особенно выделялись Гоголь и Нестор Кукольник. Кукольник предпочитал трагические роли, Гоголь — комические. Особенно хорош он был в ролях стариков и старух. Зрители помирали со смеху, когда он изображал какого-нибудь дряхлого украинского «дида», или госпожу Простакову в «Недоросле» Фонвизина, или няню Василису в «Уроке дочкам» Крылова. М. И. Гоголь, мать писателя.

Портрет работы неизвестного художника. 1810-е годы.

Гимназический театр славился на всю округу. На его спектакли съезжались городские жители, помещики окрестных деревень, офицеры стоявшей в Нежине дивизии. И можно было услышать, как они говорили между собой, что и в столичных театрах ни одной актрисе так не удалась роль Простаковой, как удалась она студенту Гоголю. Английская набережная.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

И вот, ломая голову над тем, как заработать кусок хлеба, Гоголь решил попробовать вступить в русскую труппу императорских театров.

Хмурым осенним утром в дом на Английской набережной, где жил директор театров князь Гагарин, несмело вошел молодой человек в поношенной шинели и попросил доложить о себе.

Канцелярия князя помещалась тут же, в его роскошной квартире.

Пришедшего принял секретарь.

— Что вам угодно?

— Я желал бы быть представленным его сиятельству.

— Позвольте узнать вашу фамилию?

— Гоголь-Яновский.

— Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?

— Да, я желал бы поступить в театр.

— Вам придется обождать. Князь еще не одевался.

Гоголь сел у окна и, глядя на Неву, нервно барабанил по стеклу пальцами. Петербургский Большой театр.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

Секретарь занялся своим делом, время от времени бросая взгляд на просителя. У того, очевидно, болели зубы — одна щека была подвязана черным платком.

Подождав с полчаса, Гоголь выразил нетерпение.

— Скоро ли меня примет его сиятельство?

— Полагаю, что скоро, — ответил секретарь.

И действительно, через несколько минут князь был уже в кабинете.

— Что вам угодно? — Голос звучал холодно и надменно.

Гоголь, робея, изложил свою просьбу.

— Из какого звания?

— Дворянин.

— Что побуждает вас идти на сцену? Как дворянин вы могли бы служить.

Этим вопросом князь хотел дать понять, сколь мало почтенно в его собственных глазах и глазах хорошего общества занятие актера. Гоголь не стал растолковывать, что придерживается другого мнения, считает актеров не фиглярами, а служителями искусства. Он только сказал:

— Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня. Мне кажется, что я не гожусь для нее. К тому же я чувствую призвание к театру.

— Играли вы когда-нибудь?

— Никогда, ваше сиятельство.

Гоголь почему-то умолчал о своих нежинских успехах.

— Не думайте, что актером может быть всякий: для этого нужен талант.

— Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант.

— Может быть! На какие же амплуа думаете вы поступить?

— Сам не знаю. Полагаю — на драматические роли.

Князь оглядел просителя с плохо скрытой насмешкой.

— Я думаю, что для вас была бы приличнее комедия. Впрочем, ваше дело.

И, обратясь к секретарю, приказал дать записку к инспектору русской труппы Храповицкому, чтобы тот испытал Гоголя и доложил о результатах.

Гоголь вышел от Гагарина несколько обнадеженный, хотя самое страшное было впереди.

Храповицкий назначил явиться в Большой театр в утренние часы, когда бывают репетиции.

Большой театр — главный из петербургских театров — стоял на окраине, в Коломне. Он в полной мере соответствовал своему названию — здание грандиозное, с мощным колонным портиком, равно великолепное и снаружи и внутри.

Но Гоголю было на сей раз не до красот. Его волновало предстоящее испытание.

Инспектор русской труппы Храповицкий, подполковник в отставке, был человеком весьма своеобразным. Актеры за его спиной подсмеивались над ним и рассказывали анекдоты о его невежестве. Как-то начальник репертуара Зотов прислал Храповицкому записку, предлагая положить в Лету какую-то новую пьесу. Храповицкий прочел и задумался. Потом обратился к актеру Петру Каратыгину:

— Посмотри, пожалуйста, что это такое пишет мне Зотов: тут, верно, ошибка, и надо было написать «отложить к лету». Но летом такую большую пьесу нам ставить вовсе не выгодно.

Пришлось Каратыгину объяснять, что в записке Зотова речь идет о Лете — реке забвения в мифологии. Петербургский Большой театр

. Гравюра по рисунку А. Горностаева. 1830-е годы.

В актерах Храповицкий ценил красивую внешность, громкий голос, умение протяжно с завыванием читать стихи, изображать неистовые страсти и принимать эффектные позы. Наружность Гоголя ему не понравилась: ни роста, ни осанки — и туда же, в актеры.

Он сунул тетрадь и велел:

— Читайте.

Читать без всякой подготовки, да еще с выражением, монологи из трагедий Расина в дубовом переводе графа Хвостова было делом немислимым. Хвостов в стихах подпускал такого, что, как говаривал Иван Андреевич Крылов, и трезвому не выговорить. Гоголь все время запинаясь. К тому же читал он просто, естественно, не так, как любил Храповицкий.

Инспектор морщился, хмурился, обрывал на полуслове. Наконец буркнул:

— Довольно.

Князю Гагарину Храповицкий донес, что присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только к трагедии или драме, но даже к комедии. Что он, не имея никакого понятия о декламации, даже и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сцены и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно никаких способностей для театра и что, если его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на службу к театру, то его можно было бы употребить разве только

на выход.

Последнее выражение обозначало статистов, которые по ходу действия приносили письма, подавали стулья, изображали толпу гостей, не раскрывая рта.

Гоголь за ответом не явился. Он и так понял, что путь на сцену ему заказан.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Той же осенью Гоголь перебрался из дома Иохима на новую квартиру. Вместе с двумя своими «однокорытниками» (так он называл питомцев Нежинской гимназии), Прокоповичем и Пащенко, снял квартиру на Екатерининском канале, у Кокушкина моста, в огромном пятиэтажном доме купца Зверкова.

Это был настоящий Ноев ковчег, бесчисленных обитателей которого объединяло одно — вечная забота о хлебе насущном. Гоголь и его друзья поселились на пятом этаже.

Некто Светличный, любитель присочинить, побывав в Петербурге, порассказал Марии Ивановне небылицы про жизнь ее сына. «Не верьте Светличному... — писал Гоголь матери, — когда он видел, чтобы у меня пировало множество гостей на мой счет? Когда я нанимал квартиру, состоящую из 3-х комнат один? И теперь нанимаем мы 3 комнаты, но нас три человека вместе стоит, и комнатки очень небольшие».

До пиров ли тут было, когда Гоголь не знал, как прокормить себя и Якима, заплатить за квартиру, купить новую пару исподнего белья — старое проносилось до дыр.

В это время в Петербург приехал генерал-майор в отставке Андрей Андреевич Трощинский, родной племянник покойного Дмитрия Прокофьевича, унаследовавший огромное состояние дяди.

Марии Ивановне Андрей Андреевич приходился двоюродным братом. И хотя он не отличался щедростью по отношению к своей вдовой небогатой родственнице, но, видя бедственное положение Никоши, которого знал с детства, решил ему несколько помочь. Дал немного денег и нажал кое-какие пружины для определения на службу незадачливого юноши. Двор бывшего дома Зверкова на Екатерининском канале (канал Грибоедова, 69/18).

Фотография. 1973 г.

Вскоре Гоголь уже выводил прошение:

«Его высокопревосходительству Господину министру внутренних дел генерал-адъютанту и кавалеру Арсению Андреевичу Закревскому.

От студента 14-го класса Николая Гоголь-Яновского

Прошение

Окончив курс наук в Гимназии высших наук князя Безбородко, получил я аттестат, с правом на чин 14-го класса, который при сем имею честь представить. Ныне же имея желание вступить в гражданскую его императорского величества службу, покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство повелеть определить меня в оную по управляемому вами министерству внутренних дел. Студент 14-го класса Николай Гоголь-Яновский».

Резолюция министра на прошении гласила: «Употребить на испытание в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий, и при первом докладе лично г-ну директору со мною объясниться. 15-го ноября 1829».

Резолюция свидетельствовала о том, что дело не обошлось без протекции.

И, несмотря на это, служба была незавидная. Первые месяцы, как и положено, вообще без жалованья, а потом тридцать рублей в месяц. Канал Грибоедова (бывший Екатерининский) у Кокушкина моста.

Фотография. 1973 г.

В письме к матери Гоголь расписал все свои доходы и расходы, чтобы показать, как мизерно его жалованье и как дорога жизнь в Петербурге.

Жалованья едва хватало на наем квартиры. И все же считалось, что Гоголь при месте. Он стал чиновником. Теперь каждый день с утра отправлялся он в должность на набережную Мойки, где на углу Нового переулка у Синего моста, в трехэтажном доме министерства внутренних дел, помещался его департамент.

Что же ждало его здесь, за убогим столом, забрызганным чернилами и усеянным огрызками гусиных перьев? Полезная деятельность на благо человечеству? Как бы не так! Никчемная, бесплодная трата времени, переписывание «старых бредней и глупостей господ столоначальников».

Каково было служить в министерстве внутренних дел, можно судить по словам шефа жандармов Бенкендорфа. Даже он не одобрял порядки, заведенные Закревским. Бенкендорф

доносил царю: «Гр. Закревский деятелен и враг хищений, но он совершенно невежда. Всю свою славу и свое честолубие он полагает в чистоте апартаментов, соблюдении формы, в составлении карточек и в числе входящих и исходящих бумаг». За невежество и самодурство Закревского прозвали Чурбан-паша. Он изводил подчиненных бессмысленной формалистикой. Здание бывшего департамента государственного хозяйства публичных зданий (набережная Мойки, 66.)

Фотография. 1973 г.

Гоголю приходилось несладко — отупляющие занятия и грошовое жалованье.

«Жалованья получаю сущую безделицу. Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для г. журналистов». В присутственном месте.

Литография. Середина XIX в.

Неудача с «Ганцем» не убила в нем тяги к сочинительству. Статьи — между прочим. А главное... Он задумал большой труд — несколько повестей.

В гимназии кое-кто из товарищей поучал его:

— В стихах упражняйся, а прозой не пиши: очень уж глупо у тебя выходит. Беллетрист из тебя не вытанцуется. Это сейчас видно.

А он пришел к выводу, что именно в стихах упражняться более не следует, а попробовать писать прозой — стоит. Только не о Германии, а о родной Украине. Ее он знал и любил. Ее хутора с белыми хатами в густой зелени садов, ее прозрачные реки, бескрайние степи, ее веселый, добрый народ, ее песни, легенды, сказки.

В гимназии юные аристократы подсмеивались над ним за то, что он водится с мужиками, любит все мужицкое.

И верно, его первым другом в пансионе был добрый Симон, их крепостной человек, которого Василий Афанасьевич бесплатно отдал в пансионские служители, чтобы он заодно присматривал за Никошей. А Никоша нуждался в присмотре, добром слове, ласке. Болезненный, впечатлительный, он с трудом привыкал к пансионской жизни, скучал по родителям, по дому. «Прощайте, дражайшие родители, далее слезы мешают мне писать. Не забудьте также доброго моего Симона, который так старается обо мне, что не прошло ни одной ночи, чтобы он не увещевал меня не плакать об вас, дражайшие родители, и часто просиживал по целой ночи надо мною, уже его просил, чтоб он пошел спать, но никак не мог его принудить».

Юные аристократы презирали «холопов». Гоголь относился к крестьянам с сочувствием. Он видел в них людей, а не рабочий скот. Слова профессора Белоусова, этого нежинского Куницына, о том, что «все врожденные права находятся для всех людей в безусловном равенстве», падали на добрую почву.

Гоголя оскорбляло неравенство людей. И когда воспитанников гимназии водили в церковь, Гоголь показывал себя. Завидев мужика, который жался позади всех, выталкивал его вперед, говоря:

— Тебе бог нужнее, чем другим, иди к нему ближе!

Или спрашивал у мужика:

— Есть у тебя деньги на свечку?

И, если денег не было, вынимал из кармана монету и отдавал ее со словами:

— На, поди поставь свечку, кому ты желаешь, да сам поставь. Это лучше, чем кто другой за тебя поставит.

Мужик шел. А Гоголь с усмешкой поглядывал по сторонам. Он радовался тому, что мужик протискивается сквозь ряды бар, трется своим пыльным зипуном об их парадные мундиры и, опередив всех, подходит к алтарю.

Очень любил Гоголь в погожие дни ходить в предместье Нежина — Магерки. Он быстро перезнакомился со многими тамошними крестьянами и навещался к ним, как к добрым друзьям. Они приглашали его на праздники, свадьбы. И, бывало, в саду возле хаты за праздничным столом, уставленным нехитрой снедью, сидел между усатым «чоловиком» и его дородной «жинкой» худощавый юноша в гимназическом мундире и, потягивая грушевый квас, слушал неторопливые разговоры, забористые шутки, протяжные песни или глядел во все глаза, как лихо, с топотом, хлопцы пляшут гопак.

В последних классах гимназии Гоголь завел «Книгу всякой всячины, или Подручную энциклопедию». В эту толстую тетрадь в коричневом кожаном переплете он в алфавитном порядке заносил разнообразные полезные сведения. Были здесь и лексикон украинских слов с переводом их на русский, описание «игр и увеселений малороссиян», их обрядов, обычаев, запись песен, загадок, пословиц, преданий, названия малороссийских кушаний.

Все это Гоголь собирал в родной Васильевке и ее округе, а также в Нежине.

Приехав в Петербург, он с изумлением увидел, как велик в столице интерес ко всему украинскому.

В то время, еще не столь отдаленное от героической эпопеи 1812 года, мыслящие русские люди считали, что стыдно раболепствовать перед всем иноземным, пора вспомнить о своем народе, освободившем Европу от ига Наполеона, вспомнить о народном языке, обычаях, преданиях. Писатели и ученые обратились к народной жизни. И не только русской. В столичных журналах печатали сочинения украинских писателей. Издавались сборники песен, книги по истории Украины. Вскоре после приезда Гоголя в Петербург вышла поэма Пушкина «Полтава».

«Здесь так занимает всех все малороссийское», — писал Гоголь матери и просил сообщить ему все, что она знает интересного о нравах и обычаях «малороссиян наших». «Это мне очень, очень нужно... Если есть кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов, и проч. и проч. и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно».

Он просил мать прислать ему описание полного наряда сельского дьячка, названия платья, носимого украинскими девушками, всего «до последней ленты», а также платья замужних женщин и мужиков, описание свадьбы, «не упуская наималейших подробностей», и многое другое.

Мария Ивановна вместе со старшей дочерью Машей, призвав на помощь родственников, соседей и, конечно, мужиков, исправно выполнила поручения сына.

И вот теперь, возвращаясь из департамента, наскоро проглотив состряпанный Якимом обед, Гоголь принимался за дело. Он писал свою первую повесть, озаглавив ее: «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви».

Народное предание, которое легло в основу повести, было записано в «Книге всякой всячины». Оно гласило: «Папороть (по-русски папоротник, или кочедыжник, bilix) цветет огненным цветом только в полночь под Иванов день, и кто успеет сорвать его, и будет так смел, что устоит против всех призраков, кои будут ему представляться, тот отыщет клад».

Гоголь писал... Работая, забывал обо всем на свете. О том, что за окном его убогой комнаты воет ветер и крутится снег, что Яким ворчит на скудные харчи, что служба в департаменте хуже горькой редьки. Он писал. В такие часы был безмерно счастлив. И если бы не дружный храп Прокоповича и Пащенко, доносившийся из соседних комнат, он бы не выдержал — вскочил, притопнул и со всей лихостью отхватил гопака.

«ЧТО-ТО СКАЖЕТ НАМ НОВЫЙ 30-й ГОД?»

Первое января — первый день Нового года — был, пожалуй, самым шумным днем в Петербурге. С утра начиналась всеобщая суэта. По улицам во всех направлениях мчались экипажи, спешили пешеходы — все торопились не опоздать, раньше других лично поздравить начальство, высокопоставленных лиц, знакомых, родственников или хотя бы завезти визитную карточку в знак того, что, мол, почитаем, помним, желаем...

Первого января 1830 года, поздравляя мать, Гоголь писал ей: «Что-то скажет нам новый 30-й год? Какое-то шумное волнение заметно в начале его; но холодно и безжизненно встретил я его. Наступление нового года всегда было торжественною минутою для меня. Каков-то будет для меня этот год? Чувства мои не переменятся...»

Свою повесть «Бисаврюк» он закончил и отнес ее в журнал. Выбрал «Отечественные записки». Журнал этот знал с гимназических лет. Здесь печатались материалы по русской истории — о Петре I, Суворове, Кутузове, Ломоносове, войне 1812 года; документы, путевые очерки, статьи о жизни и нравах разных народов России, об умельцах-самородках; встречались «башкирские», «татарские», «черкесские» повести. И Гоголь решил, что его «малороссийская» повесть придется здесь ко двору.

Об издателе «Отечественных записок», Павле Петровиче Свиныне, Гоголь слышал, что тот объездил весь свет, был даже в Северной Америке, любит старину, всякие диковины, устроил в своей квартире «Русский музей», куда охотно пускает всех желающих. Гоголь пошел к Свиныну.

Свинын жил недалеко от Невского проспекта, на Михайловской площади, в доме петербургского городского головы, коммерции советника Жербина. Вид от Невского проспекта на Михайловскую улицу и площадь.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

Издатель «Отечественных записок» встретил Гоголя радушно, охотно взял «Бисаврюка» и потащил осматривать свой «музей», которым очень гордился. Это и впрямь было любопытное зрелище. В трех больших комнатах разместились картины и статуи русских художников, изделия русских мастеров из серебра, яшмы, малахита, фарфора, да еще медали, монеты, старинное оружие, рукописи... Здесь были диковины, редкости. Серебряный, ярко вызолоченный кубок назывался «Олень». На оленье сидела Диана с Купидоном, под ними бежали две огромные собаки, изображена была охота и звери. При помощи особого механизма, заключенного внутри подставки, олень со всеми фигурами стремительно несся вокруг стола. Кто умел остановить его на бегу, тот и выпивал кубок... Одна из медалей — четырехугольная «квитанция» — выдавалась боярам при Петре I как

разрешение носить бороду. Надпись на ней гласила: «Борода лишняя тягота». Но в «музеуме» Свинына среди ценного и редкого хранились и курьезы весьма сомнительных достоинств, например, картина, писанная на паутине, чепчик из паутины — «знак невероятного терпения» какой-то девицы Бородиной.

Вскоре Гоголь уже просил Марию Ивановну собирать древние монеты, попадающиеся в их местах, «антики», старопечатные книги и особенно стрелы, которые во множестве находили в протекающей вблизи Васильевки реке Псел. Он писал, что хочет подарить их «одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей».

«Вельможа» Свинын (Гоголь назвал его так для пущей важности) имел обширные знакомства и мог при желании помочь молодому человеку. А Гоголь бедствовал. Принимать подачки от Андрея Андреевича Трощинского было унизительно.

«... Вы не поверите, чего мне стоит теперь заикаться ему о своих нуждах», — писал Гоголь матери. Он по-прежнему упорно искал службы, но с большим жалованьем.

Свинын, прочитав «Бисаврюка», ухватился за Гоголя.

«Отечественные записки» дышали на ладан. Уважающие себя писатели не шли к Свиныну — он пользовался среди них нелестной репутацией как человек беспринципный и завзятый враль. «Бисаврюк», повесть Гоголя в журнале «Отечественные записки».

Пушкин изобразил его в сказочке «Маленький лжец». «Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок. — Он не мог сказать трех слов, чтоб не солгать. Папенька его в его именины подарил ему деревянную лошадку. Павлуша уверял, что эта лошадка принадлежала Карлу XII и была та самая, на которой он ускакал из Полтавского сраженья. Павлуша уверял, что в доме его родителей находится поваренок астроном, форрейтер историк и что птичник Прошка сочиняет стихи лучше Ломоносова. Сначала все товарищи ему верили, но скоро догадались, и никто не хотел ему верить даже тогда, когда случалось ему сказать и правду». П. П. Свинын

. Гравюра. 1830-е годы.

Пушкин намекал еще и на то, что Свинын всюду старался отыскивать таланты: самоучек-живописцев, поэтов, механиков, но по малой осведомленности постоянно попадал впросак.

Для журнала Свинына занимательная повесть Гоголя пришлась как нельзя более кстати. Свинын напечатал и ее, и историческую песню, и интересные документы по истории Украины, полученные Гоголем из дому. Повесть и публикации появились без подписи. Но Свинын не скрывал, чьи это труды, и даже кое-кому замолвил словечко.

Весною 1830 года Гоголь смог, наконец, уволиться из департамента государственного хозяйства и подать прошение о зачислении его в департамент уделов, «в число канцелярских чиновников». Здание департамента уделов.

Гравюра по рисунку А. Горностаева. 1830-е годы.

Жалованья здесь положили на первое время пятьдесят рублей. «Теперь моим местом, — писал Гоголь Марии Ивановне, — я, можно сказать, обязан своим собственным трудам».

Впервые кто-то оценил его литературные труды. Это окрыляло.

«ВОТ ВАМ ОПИСАНИЕ МОЕГО ЛЕТНЕГО ДНЯ»

С приближением лета Петербург заметно пустел. Вельможи со своей челядью переселялись в загородные резиденции. Помещики, проводившие зиму в столице, уезжали в деревни. Служилый люд и даже ремесленники, из тех, кто подостаточней, перебирались на дачи. По улицам тянулись длинные обозы с домашним скарбом, реки и каналы наполнялись баржами, груженными мебелью.

Повсюду под Петербургом на двадцать верст вокруг буквально не оставалось ни одного ветхого домишки, ни одной кривобокой избенки, не получивших громкого названия: дача. Самый скромный чиновник, считавший Каждый грош, платил последние деньги за тесную конуру где-нибудь на Выборгской или Петербургской стороне, чтобы показать, что и он не хуже других. Ему там будет скучно, душно; дырявая крыша не укроет от дождя; грязь не даст выйти из дому; добираясь пешком до департамента, он порядком натрудит свои бедные ноги. Но зато в конце служебного дня, прощаясь с товарищами, сможет как бы между прочим сказать:

— Я иду к себе на дачу.

Гоголю дача была не по карману. «Не смотря на все старания свои, я не мог, однако ж, иметь никакой возможности переехать на дачу. Судьба никаким образом не захотела свести меня с высоты моего пятого этажа в низменный домик на каком-нибудь из островов».

А ему так хотелось за город! Даже из маленького Нежина с наступлением теплых дней он рвался в деревню. И теперь, взбираясь к себе на пятый этаж, где явственно чувствовалась близость раскаленной крыши, с грустью думал о том, как далека и недоступна родная Васильевка. «Как бы хотелось мне хотя на мгновение оторваться от душных стен столицы и подышать хотя на мгновение воздухом деревни!»

Лето пришлось провести в Петербурге, и Гоголь всячески старался скрасить свое заточение. Он строго распределил время между трудом и отдыхом.

В десять часов утра отправлялся он в должность. С Екатерининского канала на Дворцовую набережную, где помещался департамент уделов, шел пешком, вливаясь в поток канцелярских чиновников «ходящих», которые на своих на двоих мерили неблизкие петербургские расстояния. Одетые в потертые мундирные фраки, сюртуки, старые шинели, измятые шляпы, с пакетами и свертками бумаг, они старались прийти в должность раньше чиновников «ездящих», которые прибывали в свои департаменты в маленьких колясках и на дрожках. Чиновник

. Рисунок из альбома 1830-х годов.

До трех часов дня Гоголь переписывал бумаги. О чем? О том, какие доходы приносят «августейшей фамилии» — царю и его ближайшим родственникам — многочисленные уделы: пять миллионов десятин земли, сотни тысяч крестьян в тридцати шести губерниях, удельные мельницы, рыбные ловли, полотняные фабрики и другие заведения, специально предназначенные для содержания императорского дома. Все, чем управлял департамент уделов, куда Гоголя зачислили писцом.

В три часа дня Гоголь освобождался. «В половине четвертого я обедаю, после обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в Академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить».

Хоть до Васильевского острова, до Академии художеств, было очень далеко, Гоголь и туда шел пешком. Он рассказывал матери, что, приехав в Петербург, и пять верст преодолевал с трудом, а теперь может отмахать и двадцать без всякой усталости. Отсутствие денег на

извозчика имело то преимущество, что приучало ходить пешком.

В Академию художеств его, можно сказать, ноги сами несли. Сердце его радостно билось, когда приближался он по набережной к красивому зданию, торжественно протянувшемуся над Невой. Академия художеств.

Фотография. 1973 г. Набережная Невы у Академии художеств.

Литография Ф. Перро. Около 1840 г.

Какое это было наслаждение после унылого департамента очутиться в стенах Академии художеств, перенестись в иной мир — возвышенный и прекрасный. Казалось, пошлость и суэта повседневной жизни остались там, на петербургских улицах, и не проникают сюда. Здесь царит искусство. Светлые залы, картины, художники... Как он понимал этих одержимых людей, отрешенных, сосредоточенных, лишенных, по его мнению, иных страстей, кроме всепоглощающей страсти к искусству. «Я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте!»

Гоголь никогда не помышлял стать художником, но рисовать любил. Его влекло к живописи. В Нежинской гимназии имелось несколько писанных маслом неплохих пейзажей, портретов, исторических картин. И Гоголь с интересом рассматривал их, слушал объяснения профессора рисования Капитона Степановича Павлова. Павлов беззаветно любил свой предмет и умел приохотить к нему учеников. Гоголь был из лучших. Рисовал карандашом, пастелью, пробовал писать маслом. И очень гордился своими успехами. «Я трудился долго и наконец успел нарисовать 3 картины, а 4-ю еще только что начал и можно сказать, что стоит чего-нибудь. Ежели б вы их повидали, то верно бы не могли поверить, что я рисовал. Только жаль, что они пропадут, ежели не будет рамок, ибо они все рисованы на грунту и долго лежать никак не могут, и для того прошу вас покорнейше прислать как можно поскорее рамки с стеклами». Натурный класс Академии художеств.

Рисунок А. Венецианова.

Когда его петербургская жизнь пошла более упорядоченно и не надо было метаться в поисках службы, он позволил себе роскошь вспомнить о живописи. Три раза в неделю по два часа занимался в классах Академии художеств. И этим удовлетворял свою жажду прекрасного.

Вечером, после академии, Гоголь ходил в гости к товарищам по гимназии, которых немало обосновалось в Петербурге, или к семейным знакомым, у которых пил чай.

В девять часов вечера отправлялся он на «общее гуляние»: куда-нибудь в Летний сад, или на Адмиралтейский бульвар, или подальше — «по разным дачам». Рисунок Гоголя.

Зимой и весной излюбленным местом гуляний петербургской публики был Невский проспект. Летом те, кто оставались в городе, предпочитали места более прохладные и тенистые — Летний сад и Адмиралтейский бульвар, где близость Невы освежала воздух.

По воскресеньям в Летнем саду играла музыка, которую нанимал содержатель кофейного домика, находившегося в саду. В этом домике имеющие деньги могли полакомиться мороженым, вареньем, конфетами, пирожными, выпить лимонаду, кофе, шоколаду, ликеру. В начале июня, в духов день, в Летнем саду устраивалось большое купеческое гулянье. Так называемый «смотр невест». Сюда съезжались купцы со всего города и множество любопытных. Вдоль аллей, одетые по-праздничному, стояли купцы с женами и дочками. А мимо них неторопливо прохаживались молодые купчики, разглядывая девиц и стараясь привлечь к себе внимание. Зрелище было занимательное, особенно для того, кто

видел его впервые.

Для дальних прогулок Гоголь выбирал острова и другие живописные петербургские окрестности. Он шел по усыпанным песком дорожкам мимо дворцов, окруженных парками, затейливых дач — то в виде нарядной русской избы, то голландского домика, то наподобие китайской пагоды или в готическом стиле — с узкими окнами, башенками, шпилями. На Елагином острове у дворцовой гауптвахты играл военный оркестр. Близ моста на Крестовском острове стояли качели, а неподалеку в сосновой роще имелся трактир, где устраивались представления: пускали воздушные шары, штукари ходили по канату, публику потешали ученые медведи. Летний сад. Кофейный домик.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы. Летний сад.

Фотография. 1973 г. Гулянье на Крестовском острове.

Литография А. Брюллова. 1820-е годы.

Развлечений было много, но нигде не слышно было беззаботного смеха, не видно было беспечной радости. Всех что-то сковывало. Публика чинно, даже как-то сумрачно прогуливалась по дорожкам. Несколько большее движение наблюдалось возле трактиров и палаток, над входом в которые виднелись надписи: «Париж», «Лондон», «Лиссабон». Но и здесь известные личности в голубых мундирах приводили в надлежащие формы каждое вольное движение.

Петербургские жители привыкли к тому, что им запрещалось все начиная от игр «под названием лото, фортуна и орлянка» и кончая распространением предосудительных толков о политических происшествиях.

Общее гулянье кончалось в одиннадцать часов вечера, но Гоголь не сразу возвращался домой. Стояли белые ночи, и улицы не пустели даже после полуночи. Острова. Белая ночь.

Рисунок В. Барта. 1820-е годы.

«Ночей, как вам известно, здесь нет; все светло и ясно, как днем, только что нет солнца. Вот вам описание моего летнего дня; всячески стараюсь я лучше провести его, но все почти вспоминаю за каждым разом деревню. Воздуху здесь нет настояще деревенского; весны совсем нельзя заметить... все лето и весна продолжают здесь только три месяца; остальными девятью месяцами управляют деспотически зима и осень».

«ЗАЧЕМ МАРАТЬ МОЕ ДОБРОЕ, ЕЩЕ НЕ ЗАПЯТНАННОЕ НИЧЕМ ИМЯ»

Этим летом, в свободное от служебных занятий время, Гоголь не только развлекался и гулял. Он продолжал трудиться над украинскими повестями. «Участие в журналах я давно оставил... — писал Гоголь матери. — Теперь я собираю материалы только и в тишине обдумываю свой обширный труд. Надеюсь, что вы по-прежнему, почтеннейшая маменька, не оставите иногда в часы досуга присылать все любопытные для меня известия, которые только удастся собрать».

В «Отечественных записках» Гоголь больше не печатался. Мнение об этом журнале изменил. Вначале, посылая его матери, весьма хвалил и с видимым удовольствием сообщал, что получает номера бесплатно. Далее тон меняется, восторги поостыли. И вслед за номером журнала летит предупреждение: «В этой книжке, и во всех последующих вы не встретите уже ни одной статьи моей». А когда Мария Ивановна не поверила этому, решив, что Никоша

скромничает, и принялась ему приписывать разные разности, Гоголь рассердился: «Мне больно то, что вы сами, маменька, обо мне говорите худое... Вы мне приписываете те сочинения, которых бы я никогда не признал своими ни за какие деньги. Зачем марать мое доброе, еще не запятнанное ничем имя? Если вы так мало знаете меня, что нашли в этих сочинениях мой дух, мой образ мыслей, то вы слишком худого мнения обо мне».

Свиньин набивал свой журнал чем попало — лишь бы набить. И было совсем нелестно прослыть автором пошлых, бездарных поделок.

Гоголь решил распрощаться со Свиньиным. А печататься хотелось. В голове бродили новые замыслы. Тут пришлось поразмыслить.

В то время петербургскую журналистику прибрали к рукам два «грача-разбойника» — как называл их Пушкин — Булгарин и Греч. Булгарин и Греч.

Карикатура неизвестного художника. 1830-е годы.

Жизнь Фаддея Булгарина до того знаменательного часа, как заделался он российским журналистом, изобиловала происшествиями, о которых по понятным причинам предпочитал он умалчивать.

Булгарин воспитывался в Петербургском сухопутном кадетском корпусе. В 1806–1807 годах участвовал в кампании против Наполеона. Переменил три полка. За худое поведение был уволен от службы. Случилось это в Ревеле. Оставшись без денег, недавний корнет не нашел ничего лучшего, как заняться попрошайничеством. С протянутой рукой выходил на городской бульвар и в стихотворной форме просил милостыню у прохожих. Тогда задумал он переметнуться к Наполеону. Что и осуществил. В 1814 году Булгарина взяли в плен союзники России — пруссаки. После окончания войны и обмена пленными очутился он в Варшаве, а оттуда как ни в чем не бывало явился в Петербург.

Не зная чем кормиться, подался в стряпчие. Здесь не преуспел и решил заняться литературой. Сумел сойтись с Грибоедовым, Рылеевым, братьями Бестужевыми, Кюхельбекером — лучшей тогдашней литературной молодежью. При этом он вел двойную игру. В тайне от приятелей прислуживался правительству. И незадолго до событий 14 декабря так преуспел, что сделался владельцем весьма доходной газеты «Северная пчела». Только тогда раскусили его приятели. Рылеев сказал ему: «Когда случится революция, мы тебе на „Северной пчеле“ голову отрубим». Булгарину повезло. Восстание подавили. Рылеева повесили. А пройдоха Фаддей, с легким сердцем предав всех и все, даже родных племянников, продолжал преуспевать и предложил свои услуги Третьему отделению собственной его императорского величества канцелярии — то есть политической полиции. Стал шпионом.

Биография компаньона Булгарина — Николая Греча — не была столь живописна. Греч — человек ученый, написал известную грамматику. Начинал он хорошо, слыл либералом. Но потом сошелся с Булгариным и превратился в торгаша и приспешника властей.

Греч и Булгарин главенствовали в петербургской журналистике. Где же мог печататься порядочный человек, не желавший марать свое доброе имя?

В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ»

Восемнадцатого декабря 1830 года Петербургский цензурный комитет дал разрешение на

выпуск альманаха «Северные цветы на 1831 год». В альманахе среди прочего напечатана была глава из исторического романа «Гетьман», подписанная «оооо», то есть четырьмя «о» — столько этих букв содержалось в имени и фамилии автора: Николай Гоголь-Яновский.

Издавал «Северные цветы» известный поэт Антон Антонович Дельвиг.

Что же побудило Гоголя обратиться именно к нему? Репутация альманаха и его издателя. В «Северных Цветах» помещали свои сочинения Крылов, Жуковский, Гнедич, Баратынский, Языков, Пушкин. Особенно много — Пушкин. Владимирская площадь.

Литография Ф. Перро. Около 1840 г. Дом против Владимирской церкви, где в 1829–1831 годах жил А. А. Дельвиг. (Загородный пр., 1.)

Фотография. 1973 г.

Пушкин с лицейских лет дружил с Дельвигом, посвящал ему стихи, очень заботился об его альманахе. А все, что имело отношение к Пушкину, хоть в какой-то мере соприкасалось с ним, окружено было для Гоголя особым ореолом.

Гоголь решил обратиться к Дельвигу.

С сердечным трепетом поднимался безвестный юноша по узкой лестнице небольшого дома купца Тычинкина на Владимирской, где во втором этаже снимал квартиру Дельвиг. Как его встретят там, в святилище муз?

Дельвиг оказался таким приветливым и обходительным, таким простым и доступным, что страхи быстро рассеялись и Гоголь сам не заметил, как разговорился.

Редакция «Северных цветов» помещалась тут же, в квартире Дельвига. Собственно говоря, никакой редакции не было, а был один Орест Михайлович Сомов — добродушнейший человек невзрачной наружности, который вез на себе всю черную журнальную работу, так как Дельвиг при всех его достоинствах был ленив.

С Сомовым Дельвигу, что называется, повезло. Прежде чем обосноваться в «Северных цветах», Сомов работал на Булгарина. Связался он с Булгариным не от хорошей жизни. Накануне событий 14 декабря Сомов служил в Российско-Американской компании, где служил и Рылеев, жил в доме компании на Мойке, где была квартира Рылеева и собирались члены тайного Северного общества. После восстания Сомова арестовали. Его подозревали в причастности к заговору. На допросе в Зимнем дворце царь его спросил:

— Где ты служишь?

— В Российско-Американской компании, — ответил Сомов.

— Хороша собралась у вас компания, — съязвил Николай.

Сомова посадили в Петропавловскую крепость, но вскоре выпустили за неимением улик. Выйдя из крепости, он остался без средств и, будучи опытным литератором, решил кормиться журнальной работой. Тогда и попал он к Булгарину. Тот, зная бедственное положение Сомова, платил ему мало, заваливал работой и даже, случалось, обсчитывал. Сомов терпел два года, а потом не выдержал и перешел к Дельвигу.

Как-то на Невском Булгарин столкнулся с Сомовым.

— Правда ли, Сомыч, что ты пристал к Дельвигу?

— Правда!

— И будете меня ругать?

— Держись! А. А. Дельвиг

. Рисунок Пушкина. 1829

Гоголь нашел в лице Сомова искреннего доброжелателя. Сомов был единственным, кто сочувственно отозвался о каком-то В. Алове, напечатавшем «идиллию в картинах». Еще в 1829 году, когда вышел «Ганц Кюхельгартен», Сомов увидел в юном сочинителе «талант, обещающий в нем будущего поэта», о чем и поведал на страницах «Северных цветов». А в обзоре русской словесности за 1830 год, помещенном в той же книжке альманаха, что и глава из исторического романа «Гетьман», Сомов писал: «С удовольствием отдаем справедливость помещенной в „Отечественных записках“ малороссийской повести Бисаврюк, сочиненной одним молодым литератором г. Г. Я.: в ней черты народные и поверия малороссиян выведены верно и занимательно».

Сомов был украинец, сам писал недурные повести и понимал толк в деле.

Сомов и Дельвиг оценили Гоголя, и вскоре в издаваемой ими «Литературной газете» появились глава из украинской повести «Страшный кабан», статья «Несколько мыслей о преподавании географии детям» и отрывок «Женщина». Все это принадлежало перу одного автора, но свою подпись он поставил лишь под последним отрывком.

Так шестнадцатого января 1831 года читающая публика узнала, что появился литератор по фамилии Гоголь.

В том же январском номере «Литературной газеты» помещено было извещение о безвременной смерти ее издателя — Дельвига.

«Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа», — записал в своем дневнике профессор Никитенко. Власти не доверяли «Литературной газете». Пушкин, Дельвиг и другие ее сотрудники были под подозрением. А Булгарин подливал еще масла в огонь. Он боялся конкуренции, ущерба своему карману и натравливал шефа жандармов Бенкендорфа на «сомнительное» издание. Каждое лыко газете ставилось в строку.

В одной заметке усмотрели намек на революцию. А подобные намеки действовали на правительство как красный цвет на быка. Ведь совсем недавно во Франции прогремела июльская революция, длившаяся всего три дня и успевшая за это время свергнуть последнего Бурбона, короля Карла X. Николай, узнав об этом, не помнил себя от ярости, хотел тотчас же отправить войска во Францию. Еле отговорили. А «Литературная газета» позволяет себе намеки.

Бенкендорф вызвал Дельвига в Третье отделение.

— Откуда заметка? Кто сочинил?

Дельвиг пожал плечами.

— Весьма сожалею, но сие мне неизвестно. Заметку принес ко мне на квартиру какой-то человек. Она без подписи.

Заметку сочинили Дельвиг и Пушкин, но Дельвиг это скрыл и держался хладнокровно.

Бенкендорфа взбесила независимость Дельвига. Он затаил злобу и вскоре придрался к случаю. В одном из октябрьских номеров «Литературной газеты» было напечатано: «Вот новые четыре стиха Казимира де-ла-Виня на памятник, который в Париже предполагают воздвигнуть жертвам 27, 28 и 29 июля: „Франция, скажи мне их имена, — я их не вижу на этом

печальном памятнике: они так скоро победили, что ты была свободна раньше, чем успела их узнать...»

Опять о революции! В Третьем отделении произошла бурная сцена.

— Ты опять печатаешь недозволенное! — чуть ли не с кулаками накинулся Бенкендорф на вызванного Дельвига.

Дельвиг побледнел. «Ты»... Жандарм говорит ему «ты».

— Мне не было известно распоряжение не печатать ничего касающегося до недавних французских происшествий.

— Молчать! погоди — скоро я тебя, Пушкина и Вяземского упрячу в Сибирь!

— Чем же мы заслужили столь тяжкую кару?

— А тем, что у тебя собираются юнцы и ведутся речи против правительства.

Дельвиг пытался возражать, но Бенкендорф не стал слушать.

— Вон! Вон! Я упрячу тебя с твоими приятелями в Сибирь! — С этими словами он выгнал Дельвига из кабинета.

Дельвиг был потрясен, хотел жаловаться. Впечатлительный, слабый здоровьем, он как-то сразу надломился, и первая же болезнь унесла его в могилу.

После смерти Дельвига Гоголь перестал печататься в «Литературной газете».

Да и сама газета ненадолго пережила своего первого редактора. Но именно у Дельвига Гоголь встретил людей, которые сыграли немаловажную роль в его дальнейшей судьбе.

«МОИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИДУТ, ЧЕМ ДАЛЕЕ, ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ»

В феврале 1831 года Гоголь писал матери: «О себе скажу, что мои обстоятельства идут, чем далее, лучше и лучше: все поселяет в меня надежду, что если не в этом, то в следующем году, я буду уже иметь возможность содержать себя собственными трудами; по крайней мере основание положено из самого крепкого камня».

Гоголь не любил заранее хвалиться своими успехами и оповещать о них мать. «Все, что впереди, — неверно», — говорил он обычно. Но, когда после стольких неудач забрезжила надежда, наконец, встать на ноги, не утерпел и намекнул об этом.

Что имел он в виду относительно «крепкого камня», разъяснилось лишь весной. «Государыня приказала читать мне в находящемся в ее ведении институте благородных девиц».

А дело было так. У Дельвига Гоголь познакомился с другом Пушкина, педагогом и литератором Петром Александровичем Плетневым, со знаменитым поэтом Василием Андреевичем Жуковским. П. А. Плетнев.

Портрет работы А. Тыранова. 1837 г.

Плетнев обучал словесности наследника престола и великих княжен, преподавал в разных учебных заведениях, в том числе и в Патриотическом институте для благородных девиц.

Гоголь понравился ему чрезвычайно, и, услышав об отвращении молодого человека к чиновничьей службе, Плетнев предложил ему перейти в учителя. В Патриотическом институте как раз открывалась вакансия учителя истории. Гоголь с радостью согласился.

Переговорив с начальницей Патриотического института госпожой Вистингаузен, Плетнев обратился и к попечительнице — императрице Александре Федоровне. Замолвил ей слово и Жуковский. Дело сладилось.

«Вашему превосходительству честь имею донести, что преподавание истории в младшем классе Патриотического Института, которое доньше относилось к обязанностям младших классных дам, Мелентьевой и Шемелевой, по причине увеличившегося числа воспитанниц младшего возраста, оказывается для сих двух девиц обременительным, и потому необходимо нужно определить в институт особого учителя для преподавания истории во 2-м и 3-м отделениях младшего возраста. Честь имею представить о желании служащего ныне в Департаменте Уделов чиновника г. Гоголя принять на себя обязанность преподавания истории младшим воспитанницам института с жалованием по 400 р. в год. Так как г. инспектор классов, рекомендуя сего чиновника, свидетельствует о его способностях и благонадежности, то не благоугодно ли будет вашему превосходительству исходатайствовать высочайшее соизволение на принятие г. Гоголя в институт учителем истории. 6 февр. 1831. № 23».

Так писала статс-секретарю Лонгинову начальница института.

Высочайшее соизволение было исходатайствовано. Воспоследовала резолюция: «Ее императорское величество, соизволяя на сие представление, повелевает допустить г. Гоголя к преподаванию. 9 февр. 1831 г.»

Гоголь был в восторге. Наконец-то он избавится от сидения в департаменте, обретет досуг для писания и работу по душе. «Главное, что имею гораздо более свободного времени: вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо 42-х часов в неделю, я занимаю теперь 6, между тем как жалованье даже немного более; вместо глупой, бестолковой работы, которой ничтожность я всегда ненавидел, занятия мои теперь составляют неизъяснимые для души удовольствия... Но между тем занятия мои, которые еще большую принесут мне известность, совершаются мною в тиши, в моей уединенной комнатке: для них теперь времени много».

Ободренный успехом «Бисаврюка» и отрывков, помещенных в «Литературной газете», Гоголь с увлечением писал свои украинские повести. И надеялся на успех.

В начале марта он начал обучать истории воспитанниц Патриотического института.

Патриотический институт помещался на 10-й линии Васильевского острова у Большого проспекта. Здание бывшего Патриотического института. (10-я линия Васильевского острова, 3/30.)

Фотография. 1973 г. Здание бывшего Патриотического института. Вход.

Фотография. 1973 г.

Прежде чем приступить к занятиям, Гоголь удостоился беседы начальницы Луизы Федоровны фон Вистингаузен. И эта маленькая горбатая старушка, несколько смущенная взбитым коком, пестрым галстуком и молодостью нового учителя, принялась ему внушать, сколь важны его обязанности. От нее узнал Гоголь массу полезных сведений, как-то: Патриотический институт был основан несколькими знатными дамами в 1817 году. Это училище имело целью в своем начале призрение сирот, оставшихся от отцов, погибших в Отечественную войну 1812 года. Впоследствии в институт стали принимать дочерей всех офицеров, которые в войне

участвовали. Отданные сюда с малолетства благородные девицы получают тщательное воспитание. Ангел-хранитель сего заведения — императрица Александра Федоровна. Она осчастлививляет воспитанниц частыми посещениями, любит кушать вместе с ними институтский перловый суп и капустный соус, наблюдать за играми и даже однажды, во время вышивания, села на место отсутствующей девицы и собственноручно вышила в ее узоре листочек...

Уроки Гоголя бывали два раза в неделю. Он с большим старанием готовился к ним. Ему хотелось овладеть вниманием этих девочек в одинаковых унылых платьях, хотелось, чтобы глаза их, выражающие одно лишь любопытство при виде нового учителя, загорелись интересом.

Детей увлекает все яркое, красочное. Грош цена учителю, будь он учен, как Аристотель, если слог его вял и сух. Сколько скучных уроков сам он высидел в Нежине. Сколько раз его фамилия появлялась в списках наказанных: «Оставлен за то, что занимался игрушками во время класса священника», «За дерзкие слова стоял в углу».

Многое, очень многое зависит от учителя...

И, идя на занятия, Гоголь думал: «Леность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагога и суть только вывески его собственного нерадения; он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей; он заставил их с отвращением принимать горькие свои пилюли».

Чтобы помочь Гоголю выбиться из нужды, Плетнев раздобыл ему еще и уроки в домах статс-секретаря Лонгинова и генерала Балабина. У Балабиных Гоголь учил дочь, у Лонгиновых — трех мальчиков.

Гоголь подружился с десятилетней Машей Балабиной и ее матерью Варварой Осиповной. Подружился он и с мальчиками Лонгиновыми, старшему из которых было тринадцать, а младшему девять лет.

Детям нравилось, что Николай Васильевич не похож на других учителей, — добродушен, насмешлив, невзыскателен.

Мальчикам Лонгиновым его представили как учителя русского языка, а он на первом же уроке заговорил о другом: о трех царствах природы, о естественной истории. На следующих уроках речь пошла о географии, затем об истории.

— Когда же начнем мы, Николай Васильевич, уроки русского языка?

— На что вам это, господа? — усмехнулся Гоголь. — В русском языке главное дело уметь ставить «ять» и «е». А это вы и так знаете, как видно из ваших тетрадей. Просматривая их, я иногда найду случай заметить вам кое-что. А выучить писать увлекательно никто не может. Это дается природой.

И все же Гоголь следил за их речью — он терпеть не мог стертых, избитых выражений.

— Кто это вас научил так говорить? — возмущался он.

«Гоголь скоро сделался в нашем доме очень близким человеком, — вспоминал Михаил Лонгинов, младший из его учеников. — В дни уроков своих он часто у нас обедал и выбирал обыкновенно за столом место поближе к нам, детям, потешаясь и нашею болтовней и сам предаваясь своей веселости. Рассказы его бывали уморительны; как теперь помню комизм, с которым он передавал, например, городские слухи и толки о танцующих стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре».

Росказни о «танцующих стульях» занимали весь Петербург. Тех, кто поумнее, — смешили, других, веривших всякому вздору, — пугали. Пушкин записал в своем дневнике: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки. Н. сказал, что мебель придворная и просится в Аничков».

Гоголь пленил не только своих учеников. Мать мальчиков Лонгиновых отличала молодого учителя и охотно беседовала с ним.

Гоголю льстило ее внимание. «Более всего удивлялся я уму здешних знатных дам (лестным для меня дружеством некоторых мне удалось пользоваться), — рассказывал Гоголь Марии Ивановне. — Они, можно сказать, еще вдвое образованнее мужей своих».

Как ему удалось подружиться со знатными дамами, Гоголь умолчал. Он знал, что, по разумению полтавских помещиков, занятие учителя для дворянина зазорно. Для них домашний учитель — это сбежавший семинарист, «убоявшийся бездны премудрости», которого даже небогатый панок может нанять за сто рублей в год.

«Я думаю, — писал Гоголь уехавшему из Петербурга Данилевскому, — нами обоими не слишком довольны дома — мною, что вместо министра сделался учителем, тобою, что из фельдмаршала попал в юнкера».

Сам же Гоголь не роптал на судьбу. Утраченное на первых порах душевное равновесие вновь вернулось к нему. Теперь он благословлял выпавшие на его долю испытания и неудачи — эту жизненную школу. «Ни на какие драгоценности в мире не променял бы их. Чего не изведаль я в то короткое время? Иному во всю жизнь не случилось иметь такого разнообразия. Время это было для меня наилучшим воспитанием, какого, я думаю, редкий царь мог иметь. Зато какая теперь тишина в моем сердце! Какая неуклонная твердость и мужество в душе моей».

«У НАС В ПАВЛОВСКЕ ВСЕ СПОКОЙНО»

В конце февраля 1831 года Плетнев писал Пушкину в Москву: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в

Сев. цветах отрывок из исторического романа, с подписью оооо, также в Литературной газете Мысли о преподавании географии, статью: Женщина и главу из малороссийской повести: Учитель. Их писал Гоголь-Яновский. Он воспитывался в Нежинском Лицее Безбородки. Сперва он пошел-было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих, и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает».

Гоголю и самому не терпелось познакомиться с Пушкиным. Надеялся встретить его у Дельвига — Пушкин то и дело наезжал в столицу, — да не довелось.

Когда Гоголь приехал в Петербург, чуть не в первые же дни побежал справляться, где найти Пушкина. Узнал, что Пушкин как раз в столице и, по своему обыкновению, остановился на Мойке в гостинице Демута. Решил повидать его. Отправился к Демуту. Сперва шел бойко. Но чем ближе подходил, тем шаги замедлялись. А у дверей гостиницы напала такая робость, что

убежал без оглядки. Походил, походил, зашел в кондитерскую, выпил для храбрости рюмку ликеру — и опять к Демуту, прямо в номер Пушкина. Дверь открыл слуга. Невский проспект у Полицейского моста через Мойку. Третий дом справа — гостиница Демута.

Литография П. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е годы.

— Что, барин дома? — осведомился Гоголь.

— Почивают, — был односложный ответ.

— Верно, всю ночь работал?

— Как же, работал... В картишки играл.

А Пушкин-то представлялся ему не иначе как в кабинете, беседующим с музами, творящим, сочиняющим...

Еще раз идти к Демуту Гоголь не решился.

Знакомство состоялось в мае 1831 года, на квартире у Плетнева.

— Это и есть тот самый Гоголь, о котором я писал тебе, — сказал Плетнев Пушкину, подводя к нему Гоголя.

Пушкин сжал руку Гоголя своей маленькой крепкой рукой и окинул его пронизательным взглядом.

Через месяц они встретились в Царском Селе.

Незадолго до знакомства с Гоголем Пушкин писал Плетневу: «О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что доселе его не читал за недосугом. Отлагаю чтение до Царского Села, где ради бога найми мне фатерку

...»

Пушкин только что женился на московской барышне, красавице Наталии Николаевне Гончаровой, и хотел вместе с женой провести лето под Петербургом. Плетнев снял для него домик в Царском Селе. В конце мая Пушкин поселился там, где прошли его лицейские годы, в любимом и памятном Царском. Он жил на углу Кузьминской дороги и Колпинской улицы, в доме вдовы Китаевой.

Двадцать седьмого июня Гоголь уже просил Марию Ивановну: «Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, так: Его Высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу отдать Н. В. Гоголю».

Проще было указать свой собственный адрес в Павловске. Но Гоголь предпочел дать адрес Пушкина, чтобы в Васильевке и ее округе догадались, сколь он коротко знаком со знаменитым поэтом.

В Павловске, в четырех верстах от Царского Села, жил он у Васильчиковых, служил гувернером при их больном сыне. Взять место гувернера и покинуть Петербург заставила холера. Страшная азиатская гостья, уже опустошившая многие губернии России, в середине июня 1831 года добралась и до столицы. «Холера теперь почти повсеместна, — писал Гоголь матери, — и наш Петербург не избежал от ней. Слава богу, что она теперь не так опасна, и здешние доктора весьма многих вылечивают. — У нас в Павловске все спокойно, и я намерен не выезжать отсюда до тех пор, покаместь и в Петербурге не будет все спокойно». А. С. Пушкин.

Акварель П. Соколова. 1830-е годы

Это писалось для успокоения Марии Ивановны. На самом же деле все обстояло далеко не так идиллически. При первом появлении холеры царь бросил столицу на генерал-губернатора, а сам со своим двором укрылся в Петергофе. Вслед за царем сбежала аристократия и заперлась по дачам. Петербург охватила паника. И не удивительно. Генерал-губернатор Эссен был не способен к разумным действиям. Им вертел, как куклой, правитель его канцелярии некто Оводов, ловкий мошенник, пройдоха, взяточник.

Генерал-губернатор и дел-то не знал. Бывало, спрашивает у Оводова, просматривая бумаги:

— Это кто ко мне пишет?

— Это вы пишете.

— А, это я пишу. О чем?

Узнав, о чем он пишет, государственный муж ставил свою подпись.

И вот на это-то ничтожество Николай бросил Петербург.

А холера усиливалась. Каждый день умирали сотни. Все больше беднота. Бесконтрольная полиция творила что хотела, тащила в холерные больницы больных, здоровых, пьяных. Больниц же народ страшился, как огня. И имел основания. Очевидец профессор Никитенко записал в своем дневнике: «Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу... Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу... Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству. От того в разных частях города уже начинаются волнения».

Атмосфера накалялась. Недовольство, копившееся годы и жестоко подавляемое, прорвалось наружу. По городу ходили толки, порожденные страхом и невежеством, что никакой холеры нет, что все придумали лекаря вкупе с иноземцами, чтобы извести народ.

Двадцать первого июня толпа окружила карету, везущую в лазарет холерных больных. Карету разбили, а больных выпустили. При этом кричали:

— Здесь вам не Москва! Мы себя покажем! Мы по-свойски управимся с лекарями, полицией и немцами!

Двадцать второго июня на Сенной площади учинен был бунт. Великое множество народу ворвалось в холерную больницу. Выбили стекла, выбросили мебель, избili больничную прислугу, умертвили двух лекарей. Обезумевшие, доведенные до отчаяния люди не ведали, что творили. На Сенную площадь двинули войска. Разогнали, похватили. Но народ не успокоился. Холерный бунт в Петербурге. Николай I на Сенной площади.

Рисунок А. Зауэрвейда. 1831 г.

Узнав о случившемся, в столицу явился Николай. Страх перед бунтом пересилил страх холеры. Царь пустил в ход весь арсенал ведомых ему средств — увещевания, угрозы. Стоя в своей коляске посреди Сенной площади, Николай говорил, обращаясь к толпе:

— Вчера учинены были злодеяния и общий порядок был нарушен. Стыдно народу русскому подражать буйству французов и поляков. Они вас подучивают, ловите их и представляйте начальству.

И, указав на церковь Спаса, царь грозно скомандовал:

— На колени! Молитесь! Просите прощения у всевышнего!

Толпа упала на колени, а царь продолжал:

— Я за вас в ответе перед богом. Сам лягу, но беспорядков не допущу! И горе ослушникам!

Из толпы закричали. Царь повернулся в ту сторону, откуда неслись голоса.

— Вы до кого добираетесь, кого хотите? Не меня ли? Я никого не страшусь! Вот он — я!

И театральным жестом указал себе на грудь.

Переодетые полицейские гаркнули «ура!». Толпа их поддержала. Чтобы закончить представление, царь поманил к себе старика, стоявшего поблизости, облобызал его и покинул площадь.

Булгаринская «Северная пчела», захлебываясь от восторга, писала, что любовь к государю устроила народ. Но на самом-то деле волнения не прекратились. Войска стояли наготове.

А Гоголь все успокаивал Марию Ивановну: «В Петербурге холера, благодаря богу, прекращается. Там ее никто не боится; умирают очень, очень мало, и то собственною почти виною. Лечат ее необыкновенно хорошо. Выздоровевшие не могут нахвалиться нарочно устроенными для того больницами. Впрочем я до тех пор не приеду в Петербург, покаместь она совершенно там не прикратится...»

О своем житье-бытье в Павловске Гоголь матери не рассказывал. Почему — понятно.

Тогда в Павловск к Васильчиковым приехал погостить их родственник молодой дерптский студент, будущий писатель Владимир Соллогуб. Со слов своей тетушки Александры Ивановны он узнал, что при больном ее сыне Васеньке состоит в учителях некто Гоголь, большой любитель словесности, который и сам кое-что пописывает.

Тетушка предложила взглянуть на учителя.

В детской за столом сидел молодой человек, а подле него больной Васенька. Указывая на картинки, разложенные на столе, учитель говорил:

— Вот это, душенька, баран, понимаешь? Баран — бе, бе... Вот это корова. Му, му...

И очень искусно подражал голосу животных.

Соллогуб поздоровался и поспешил уйти. Ему стало не по себе. Юный князь Васильчиков страдал слабоумием, и учитель при нем был почти что нянькой. «Признаюсь, — рассказывал Соллогуб, — мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие».

Сожаление еще усилилось, когда Соллогуб случайно совсем в другом свете увидел бедного учителя. Как-то, идя по коридору, Соллогуб вдруг услышал громкое чтение, доносившееся из ближайшей комнаты. Оказалось, что это Гоголь читал свое сочинение нескольким старушкам приживалкам. Он читал им про украинскую ночь...

«Кто не слыхал читавшего Гоголя, — рассказывает Соллогуб, — тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегающими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами».

Соллогуб стоял как замороженный. С ним творилось удивительное. Он видел, он ощущал эту украинскую ночь, синий небосвод, усеянный звездами, свежесть, благоухание.

«Признаюсь откровенно, — продолжает Соллогуб, — я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вынести его на свежий воздух, на настоящее его место».

Жизнь в Павловске была бы для Гоголя мучительна, невыносима, если бы, просыпаясь поутру, он не утешал себя мыслью, что вечером сможет увидеть Пушкина.

«ПОЧТИ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР СОБИРАЛИСЬ МЫ; ЖУКОВСКИЙ, ПУШКИН И Я»

Вспоминая прошедшее лето, Гоголь писал Данилевскому: «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе... Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная: Кухарка[1], в которой вся Коломна и петербургская природа живая. — Кроме того сказки русские народные — не то что Руслан и Людмила, но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая. — У Жуковского тоже русские народные сказки, одне экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется появился новый обширный поэт и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут».

По вечерам, освободившись от своих губернских обязанностей, надев свой единственный парадный сюртук, Гоголь шел к Пушкину. Всего четыре версты отделяли Павловск от Царского Села, и для Гоголя, привыкшего к пешим прогулкам, они казались безделицей. Вот и Кузьминская дорога. Вот на углу Колпинской улицы деревянный одноэтажный дом с мезонином... Бывший дом Китаевой на углу Пушкинской улицы и улицы Васенко.

Фотография. 1973 г.

Гоголь заставлял Пушкина либо наверху в кабинете, либо внизу в гостиной, подле Наталии Николаевны, которая вышивала, склонясь над пяльцами. В гостиной не задерживались. Пушкин шутил, что их разговоры непригодны для нежных женских ушей, и уводил гостя к себе. Гоголь молча откланивался. Он был рад уйти. Присутствие Наталии Николаевны стесняло его. Он прекрасно понимал, что не обладает ничем привлекательным для скучающей красавицы — ни мундиром с эполетами, ни холеными усами, ни умением болтать светский вздор.

По крутой деревянной лестнице они поднимались в мезонин. Кабинет Пушкина нравился Гоголю: просто, много света и мало мебели. У дивана большой круглый стол, на нем чернильница, бумаги, перья. На маленьком столике графин с водой, стакан, банка крыжовникового варенья. И повсюду книги. На столе, на полках и даже на полу.

Пушкин объяснил, что вода в графине особенная — от «Лебедя». Этот царскосельский фонтан питают ледяные таицкие ключи.

Гоголь возвращался в Павловск затемно. Он шел и думал — явь ли это? Он был у Пушкина, он говорил с Пушкиным, Пушкин расспрашивал его, смеялся его рассказам. И просил не церемониться и приходите когда вздумается. Гоголю казалось, что он видит чудный сон.

Между тем холера объявилась и в Петергофе. Двор, спасаясь, перекочевал в Царское Село. Вместе с императорским семейством, своим питомцем наследником приехал и Жуковский.

Ему отвели комнаты в Александровском дворце.

До знакомства с Жуковским он представлялся Гоголю по известному портрету: романтический юноша с развевающимися темными волосами. Певец «Светланы», автор страшных баллад... Но Жуковский изменился. Он был уже в летах, пополнел, полысел, приобрел степенность. Его лицо хранило выражение спокойной грусти. Темные, восточного разреза глаза, унаследованные от матери-турчанки, смотрели умно и добродушно. Улыбка была приветливой. Голову он держал чуть склоненно, как будто прислушивался к чему-то и размышлял.

Теперь Гоголь и Пушкин встречались и у Жуковского. По-холостому, без дам. Александровский дворец.

Литография. 1840-е годы.

Правда, одна дама, вернее девица, появлялась. «Небесный дьяволенок», как называл ее Жуковский, вполне подходила к ученой мужской компании. Молодая фрейлина императрицы — Александра Осиповна Россет — славилась умом, образованностью, красотой. Поэты слагали в ее честь стихи. Придворные ловеласы ее смертельно боялись. За живость нрава ее прозвали ласточкой. За южную красу и острый язык — Донна Соль и Донна Перец. Она была ученицей Плетнева, дружила с Жуковским и Пушкиным. А. О. Россет

. Акварель неизвестного художника. Конец 20-х годов.

Приручить Гоголя ей не сразу удалось. Поначалу он дичился. А Россет он нравился. Его своеобразный выговор и взбитый хохол напоминали детство. Александра Осиповна родилась и провела ранние годы на Украине, в имении своей бабушки. Она с таким чувством вспоминала звездные украинские ночи, белых аистов, прилетающих с заходом солнца на крыши хат, галушки в сметане и вареники с вишнями, что Гоголь не устоял. Они подружились.

Россет жила вместе с другими фрейлинами в Камероновой галерее, близ Большого дворца. Жуковский, Пушкин и Гоголь встречались и в ее комнатах. В. А. Жуковский.

Акварель П. Соколова. 1835 г.

Было забавно наблюдать, как Жуковский, шутливо повздорив с красавицей Россет, просит прощения в стихах:

Чем умолю вас, о царь мой небесный —

Прикажете ль? Кожу

Дам содрать с моего благородного тела вам на калоши,

Прикажете ль? Уши

Дам обрезать себе для хлопушек...

Пушкин шутил иначе. Он написал два фельетона про Булгарина и Греча. Эти ловкие компаньоны бессовестно расхваливали друг друга и вместе ополчались против своих критиков. Так, Николай Иванович, заступаясь за Фаддея Венедиктовича, заявил, что у Булгарина «в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов».

Фельетоны Пушкина назывались: «Торжество дружбы...» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». Оба были подписаны: «Феофилакт Косичкин».

Гоголь слушал фельетоны Пушкина, его повесть в стихах «Кухарка», его сказки. Читал свои новые сказки и Жуковский. Гоголь был несказанно счастлив: он, скромный юноша откуда-то «с під Полтавы», удостоился присутствовать на турнире богов. И боги столь добры к нему, обращаются как с равным. Просят почитать им из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — так он назвал свои повести. Читали, разговаривали... Разговоры были разные. Больше о политике.

Пушкин говорил:

— У нас в Царском Селе нет ни холеры, ни бунтов, а вокруг такая каша, что боже упаси.

Запыленные курьеры на загнанных тройках доставляли отовсюду устрашающие вести: не слагают оружия восставшие поляки, бунтуют мужики, бунтуют солдаты в военных поселениях. В Старой Руссе — холерный бунт; под предлогом отравления перебиты не только лекаря, но и начальство; на городской площади, как при Пугачеве, судили дворян. В новгородских военных поселениях солдаты расправились с генералами, полковниками, офицерами — действовали мужики, которым восставшие полки выдали своих начальников.

Пушкин, недавно побывавший в Нижегородской губернии, поездивший по России, рассказывал, что народ раздражен и озлоблен. И виною этому не одна лишь холера.

Недавний начальник Гоголя, министр внутренних дел Закревский, на другой день после бунта на Сенной площади вел такой разговор с царем. Царь спросил его:

— Чему ты приписываешь народные волнения?

— Единственно злоупотреблениям и распоряжениям полиции.

— Что это значит?

— А то, государь, что полиция силой забирает и тащит в холерные больницы и больных и здоровых, а потом выпускает только тех, кто откупится.

— Что за вздор! — закричал Николай. — Кокошкин, — обратился он к петербургскому обер-полицмейстеру, находившемуся тут же, — доволен ли ты своей полицией?

— Доволен, государь, — отвечал обер-полицмейстер.

— Ну, и я совершенно тобою доволен.

Николай прекрасно знал, что сам Кокошкин наглый взяточник, но мирился с этим и отвечал жалобщикам:

— Я сплю спокойно, пока он полицмейстером в Петербурге.

Начальники, от малых до великих, наживались на всем, даже на народных бедствиях, и это считалось в порядке вещей.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ПУБЛИКУ С ИСТИННО ВЕСЕЛОЮ КНИГОЮ»

Холера в Петербурге еще не прекратилась, а Гоголь рвался из Павловска. В июне он отдал

печатать в типографию департамента народного просвещения первую часть «Вечеров на хуторе» и надеялся вскоре получить готовую книгу. Но подвел наборщик. «Моя книга вряд ли выйдет летом: наборщик пьет запоем», — жаловался Гоголь Данилевскому. И теперь, сидя в Павловске, он понимал, что если самому не явиться в Петербург и не приступить к фактору, то дело не сдвинется с места. Ему так хотелось отпечатать «Вечера», что и холера не пугала.

Пятнадцатого августа Гоголь приехал в Петербург. В городе не нашел почти никого из знакомых. Холера всех разогнала. Перепуганные господа сидели по дачам, посылая для пробы в город «людей». Ежели тех не возьмет зараза, можно самим ехать.

Первые дни прошли в хлопотах. Снял квартиру для себя и Якима на Офицерской улице в доме Брунста. Бегал то в типографию, то в цензурный комитет. Свое свидание с типографией описал в письме к Пушкину: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что:

штучки, которые изволили прислать из Павловска для напечатания, очень до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни».

Книжка вышла, наконец, в начале сентября. Первые экземпляры Гоголь отправил в Царское Село Жуковскому, Пушкину и Россет. Александре Осиповне — «с сентиментальной надписью».

Он скучал по Пушкину и Жуковскому, вспоминал вечера, проведенные в их обществе, и жалел, что счастливые минуты столь скоротечны. Душою он был еще там, в Царском Селе, в Павловске. «Но и теперь, — писал он Пушкину, — еще половиною, что я половиною? целыми тремя четвертями, нахожусь в Павловске и Царском Селе. В Петербурге скучно до нестерпимости». «Вечера на хуторе близ Диканьки», книга I.

Титульный лист.

И вдруг — нечаянная радость: на Вознесенском проспекте встретил он Пушкина, которому удалось ненадолго прорваться в Петербург. Гоголь тотчас же описал эту встречу Жуковскому: «...Черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла... И к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом»:

Окна мелом

Забелены; хозяйки нет.

А где? Бог весть, пропал и след.

С волнением ждал Гоголь суждения Пушкина о «Вечерах». И скоро дождался. Отзыв превзошел самые смелые ожидания. Пушкин написал свою маленькую рецензию в виде письма к издателю «Литературных прибавлений» к газете «Русский инвалид». Пушкин писал:

«Сейчас прочел

Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда Издатель вошел в типографию, где печатались

Вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на

неприличие его выражений, на дурной тон и проч.».

Пушкин изумился бы еще более, ежели бы узнал, что, кроме наивного «Ганца Кюхельгартена» и нескольких отрывков, автор «Вечеров» ничего не написал.

Опасаясь критиков, которые по своей косности могут напасть на Гоголя, Пушкин и просил издателя «Литературных прибавлений» взять его сторону. А такие критики нашлись. Один даже заявил, что автор «Вечеров» не «малоросс», а «москаль», не знающий Украины. Но хулителей было мало. В большинстве журналов хвалили «Вечера». Публика же буквально зачитывалась ими. И ее легко понять. В казенную тусклую атмосферу Петербурга ворвалось что-то светлое, необычайное, яркое, открылся радостный мир, полный движения и красок, благоуханный, вольный И думалось: а ведь кроме сидения в департаментах, вышагивания на парадах, погони за чинами и деньгами может быть другая жизнь; кроме приниженности, угодливости, самодовольства, жадности — иные чувства...

Во второй половине сентября, поздравляя Марию Ивановну с днем именин, Гоголь отправил ей «Вечера» с письмом: «Очень жалею, что не могу прислать Вам хорошего подарка. Но вы и в безделице видите мою сыновнюю любовь к вам, и потому я прошу вас принять эту небольшую книжку. Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем, начиная от государыни; надеюсь, что и вам также принесет она сколько-нибудь удовольствия, и тогда я уже буду счастлив».

Книжка быстро разошлась. И примерно через месяц после этого письма, на первые деньги, полученные от книгопродавцев, Гоголь смог послать подарки домой: ридикюль и перчатки для Марии Ивановны, браслеты и пряжки для сестры Маши, конфеты для маленьких — всего добра на девяносто рублей.

Гоголь воображал, как обрадуется Мария Ивановна, сколько будет разговоров, восторгов, пересудов. Но прошло немало времени, а подарки бродили где-то. Гоголь взволновался. Он знал, что на почте, как и везде, «не без плутовства», и велел Марии Ивановне допросить полтавского почтмейстера о судьбе посылки. И еще припугнуть его, сказав, что, мол, сын в Петербурге уже жаловался самому главному управляющему почтовым департаментом князю Голицыну, а тот, в свою очередь, сделал замечание директору почтового департамента Булгакову. Но сын, мол, просил господина Булгакова до времени не взыскивать с полтавского почтмейстера — вдруг посылка объявится.

Угроза подействовала. Посылка нашлась. Гоголь был рад, что вещественное доказательство его преуспевания наконец дошло по назначению, и, стараясь подбодрить мать, которой нелегко приходилось, писал ей: «...потерпим покуда: теперь уже мало остается терпеть нам... Одного молодца вы уже совершенно пристроили. Он вам больше уже ничего не будет стоить, а с следующего года будете получать с него, может быть, и проценты».

Гоголь надеялся в следующем, 1832 году выдать в свет вторую книгу «Вечера на хуторе близ

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В ясный осенний день, какие редки в эту пору в слякотном Петербурге, шестого октября 1831 года на Царицыном Лугу был военный парад. Живописное, красочное зрелище, как всегда, привлекло многочисленных зрителей. Они толпились повсюду: тут же на лугу, в аллеях близлежащего Летнего сада, высывались из окон окружающих площадь домов, теснились на балконах и даже устроились на крышах. А перед ними в четком строю, с застывшими лицами, плечом к плечу, голова к голове, носок в носок, идеально ровными линиями вышагивала пехота, за нею скакала конница, катились пушки. Гусары в красных ментиках, на белых лошадях, кавалергарды и конная гвардия в светлых, а кирасирские полки ее величества и его высочества наследника в черных кирасах, конные гренадеры в высоких шапках, лейб-казаки в алых мундирах, атаманские казаки в бирюзовых, павловцы в блестящих шишаках. Штандарты, развевающиеся на ветру. Площадь гремела, сверкала, переливалась. Парад на Царицыном лугу.

Картина Г. Чернецова. 1831–1837 годы.

Перед полками, окруженный свитой, на великолепном жеребце гарцевал Николай. Он обожал эффектные зрелища, если их можно было упорядочить и подчинить команде. Парад удался. Все шло как нельзя лучше. Царь был доволен. «Смотр и вся церемония были прекрасны, — писал он в Варшаву фельдмаршалу Паскевичу, — войска было 19 000 при 84 орудиях, погода прекрасная и вид чрезвычайный».

Николай устроил парад «по случаю окончания военных действий в Царстве Польском», то есть по поводу подавления польского восстания.

«Герой Варшавы» Паскевич наводил порядок в Польше. Но Николай был неспокоен. В душе его царил страх. Великолепный парад принес лишь минутное забвение. В тот памятный день 14 декабря, когда он едва не лишился и головы, и короны, царь испугался. С виду он старался держаться храбрецом, как и подобает солдату, каковым считал себя, хотя никогда не нюхал пороха. Но в душе он боялся. Страх не проходил. Ослабевал несколько, чтобы возвратиться с удесятенной силой. Обстоятельства последнего времени тому весьма способствовали: революция во Франции, революция в Нидерландах, холера, бунты, мятеж в Царстве Польском...

Николаю вновь казалось, что его трон колеблется, что надвигается новая грозная опасность. Французская и польская «зараза» прилипчивы. Молодые офицеры, находящиеся в Польше, подвергаются особой опасности... «Наша молодежь, — писал Николай Паскевичу, — между их соблазна

и яда вольных мыслей точно в опасном положении. Молю тебя ради бога смотри, что делается, не принимается ли зараза и у нас. В сем наблюдении состоит твоя, как и всех начальников, самая первая, важная, священная обязанность».

Искоренять заразу вольномыслия. Искоренять везде и повсюду. И в российской словесности, конечно. В любом издании, будь то даже поваренная книга. В поваренных книгах запрещали выражение «а затем ставить пирог на вольный дух». В этом усматривали намек.

Гоголь, упоенный успехом «Вечеров», не подозревал до поры до времени, как тернист и труден путь русского литератора. Все еще было впереди...

С наступлением осени обычное течение петербургской жизни, нарушенное холерой, входило постепенно в свою колею. В октябре открылись театры, в ноябре — Публичная библиотека. Возобновились занятия в университете, кадетских корпусах, институтах, в том числе и в Патриотическом. Начались празднества, балы, маскарады. Литераторы-знакомые Гоголя — как и прежде, сходились по пятницам у Жуковского, по средам и воскресениям у Плетнева.

Жуковский занимал казенную квартиру в верхнем этаже богатого шепелевского дома. Так назывался один из флигелей Зимнего дворца, принадлежавший некогда камергеру Шепелеву и купленный у него еще императрицей Елизаветой Петровной. Собрание у Жуковского. Гоголь в центре, рядом с Пушкиным.

Картина Г. Михайлова. А. Мокрицкого и др. 1830-е годы.

У Жуковского были обширные апартаменты. Гостей он принимал в кабинете, который по огромности скорее походил на зал. Ощущение простора усугублялось еще тем, что в кабинете стояло сравнительно мало мебели: письменный стол, диваны, кресла, шкафы с книгами. Украшением служили мраморные бюсты. Через много лет Гоголь писал Жуковскому: «Я, едва вступивший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желания помочь будущему сподвижнику!»

Многим, очень многим помогал Жуковский. Наживал опасных врагов, наживал неприятности и все-таки помогал. Когда вскоре, в 1832 году, запретили журнал «Европеец», Жуковский, заступаясь за его издателя, позволил себе сказать царю:

— Я за него ручаюсь.

— А кто за тебя поручится? — отрезал Николай.

Благородство и справедливость находились под подозрением.

По пятницам к Жуковскому приходили Крылов, Пушкин, Гнедич, Плетнев, Вяземский, Одоевский... Обменивались новостями, беседовали, иногда читали написанное ими. Иногда вместо чтения музицировали.

Гоголь слушал и смотрел, сидя где-нибудь в уголке дивана...

У Плетнева Гоголь тоже любил бывать. Плетнев дружил с Пушкиным. Пушкин посвятил ему «Евгения Онегина». Лучи славы Пушкина озаряли и Плетнева, который хоть звезд с неба не хватал, но обладал верным вкусом и прекрасной душой.

Плетнев жил на Обуховском проспекте у Обуховского моста, далеко от центра города, но, несмотря на это, его небольшая уютная гостиная никогда не пустовала. Здесь можно было встретить и юнца, делавшего первые шаги в литературе, и знаменитого писателя. Пушкин, случалось, заезжал сюда с женой.

Бывавшие у Плетнева замечали, что и он и Пушкин чрезвычайно внимательны к Гоголю.

В конце 1831 года петербургские литераторы много толковали о переезде книжной лавки Смирдина в новое помещение. До той поры лавка Смирдина и его же библиотека для чтения помещались на Мойке, у Синего моста. Невский проспект у книжной лавки и библиотеки для чтения А. Ф. Смирдина.

Литография П. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е годы.

Когда Гоголь приехал в Петербург и пустился в путешествие по книжным лавкам, у него глаза

разбежались. Сколько сокровищ! И все не про него. Продай он самого себя со всем своим скарбом, да еще с Якимом в придачу, и то не купишь всего, что хочется. Оставалось одно — идти в библиотеку. И он пошел к Смирдину. Ознакомившись с правилами, узнал, что «желающие пользоваться чтением книг благоволят подписаться и платить». Цены были изрядные: за год — 30 рублей, за полгода — 20 рублей, за три месяца — 12 рублей, за один месяц — 5 рублей. Гоголь заплатил только за месяц. Больше денег не было.

В лавку Смирдина он заходил постоянно и на скудные свои средства покупал кое-что. «Я вижу, что Никоша не выучился еще расчетливо жить, — жаловалась Мария Ивановна Андрею Андреевичу Трощинскому. — Главный его расход — на книги, для которых он в состоянии лишиться и пищи». Привлекало в лавку и другое — у Смирдина собирались литераторы и велись любопытные разговоры.

Сам Александр Филиппович Смирдин был человек известный. Его уважали. Он выбился в люди своим трудом. И делал полезное дело: первый, можно сказать, на Руси красиво и недорого издал сочинения лучших русских писателей. Чтобы покупали и читали.

Смирдин свое дело любил, и ему давно хотелось перевести и лавку и библиотеку в другое, просторное и удобное помещение. Невский проспект, у дома бывшей лютеранской церкви (№ 22)

Фотография. 1973 г.

Как раз в это время на Невском проспекте архитектор Александр Брюллов построил здание лютеранской церкви, которое, кстати сказать, весьма понравилось Гоголю своей оригинальностью, необычностью. По обе стороны церкви возведены были дома — флигеля. Каждый в три этажа. В том из них, что стоял на углу Конюшенной улицы, в первом этаже и бельэтаже и снял помещение Смирдин.

Ежели задумал он удивить публику, то своего добился. Петербуржцы так и ахнули. Подумать только: давно ли рядом с модным товаром такой хлам, как книги, и продавать-то запрещали, а теперь гляди-ка... На самом видном месте, на Невском проспекте, в доме лютеранской церкви, где магазин лучших в городе шляп Циммермана, магазин отличных ситцев русского изделия Битепажа, самый старый в Петербурге косметический магазин Герке, нотная лавка Рихтера, теперь и книжная лавка Смирдина... Не лавка — чертоги. Высокие потолки, огромное помещение, зеркальные окна, шкафы красного дерева. Газеты не уставали расхваливать Смирдина. Книжная лавка и библиотека для чтения А. Ф. Смирдина.

Гравюра С. Галактионова по рисунку А. Сапожникова на обложке второй книги альманаха «Новоселье». 1834 г.

Новая лавка Смирдина произвела впечатление и на Гоголя. «Книжный магазин блестел в бельэтаже ***-ой улицы, лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озаряя заглавия голубых, красных, в золотом обресе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием человеческих творений. Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных окнах, и, казалось, лампы, книги, люди — все окидывалось легким трепетом, удвоившим пестроту картины».

В начале 1832 года переехала на Невский проспект и библиотека для чтения Смирдина.

В честь новоселья устроил он праздник — торжественный обед. Пригласил литераторов, ученых, любителей словесности.

Получил приглашение и Гоголь. Торжественный обед у А. Ф. Смирдина по случаю переезда его книжной лавки и библиотеки для чтения в новое помещение на Невском проспекте

. Гравюра С. Галактионова по рисунку А. Брюллова на обложке первой книги альманаха «Новоселье».

1832 г .

Обед состоялся 19 февраля вечером. Огромный стол чуть не на сотню персон протянулся из конца в конец через весь читальный зал, уставленный книжными шкафами. Во главе стола сидел Крылов. Подле Крылова — Жуковский и Пушкин. Были здесь Вяземский, Плетнев, Одоевский. Были Булгарин и Греч. Поначалу сидели молча, уткнувшись в тарелки. Но появился граф Хвостов, и все заулыбались.

Старый граф Дмитрий Иванович Хвостов был своего рода петербургской достопримечательностью. Бедствием для книгопродавцев. Он с завидной неумолимостью сочинял стихи, которых никто не читал и никто не покупал.

Про него ходило множество анекдотов. Рассказывали, например, что однажды вздумалось Ивану Андреевичу Крылову занять денег у Хвостова. А у того не оказалось. Что делать? Хвостов сообразил.

Показал на груду своих сочинений в роскошных переплетах и сказал Ивану Андреевичу:

— Свезите это к Смирдину, продайте за полцены, а деньги возьмите себе.

Нанял Крылов извозчика, взвалили книги на телегу, повезли к Смирдину на Невский. Прибыли. Крылов пошел договариваться. Вскоре он вернулся и приказал извозчику:

— Сваливай.

— Куда?

— Сюда. На мостовую.

Расплатился и ушел. А книги остались. Как раз в это время проезжал по Невскому полицмейстер. Смотрит — что за безобразие? — прямо на мостовой возле лавки Смирдина груда книг. Учинил разбирательство.

Смирдин отпирается:

— Ваше высокоблагородие, книги не мои.

— А чьи же?

— Знать не знаю, ведать не ведаю.

Поглядел полицмейстер, что за книги, — видит: «Сочинения графа Д. И. Хвостова». Велел кликнуть извозчика и отправить книги на двор к графу Дмитрию Ивановичу. Что и сделали.

Для торжественного случая у Хвостова, как всегда, припасены были стихи. Их читали вслух два раза под дружные аплодисменты.

Хвостов и шампанское сделали свое дело — гости развеселились. Завязались разговоры, посыпались шутки. Пушкин был в ударе. Он взглянул на цензора Семенова, который сидел напротив, между Гречем и Булгариным, и сказал:

— Ты, Семенов, сегодня — точно Христос на Голгофе.

Все расхохотались. Булгарин сморщился. Более умный Греч засмеялся и захлопал.

Шутка была меткой, разила без промаха. В священном писании говорилось, что Христа распяли на горе Голгофе между двумя разбойниками.

Обед длился до полуночи. Гости, чтобы отблагодарить радушного хозяина, решили составить сборник под названием «Новоселье» и подарить его Смирдину.

Каждый обязался внести свою лепту. Устроили подписку. Подписался и Гоголь.

Через несколько дней, читая в «Северной пчеле» описание праздника у Смирдина и перечень присутствовавших на нем, Гоголь нашел и себя: «Н. В. Гоголь (автор „Вечеров на хуторе“»). И был весьма доволен.

«В 1832 ГОДУ БУДУ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЕХАТЬ К ВАМ»

С некоторых пор у Гоголя появилось ощущение, будто он уже сто лет живет в Петербурге. Будто не было того морозного декабрьского вечера, когда они с Данилевским, высовываясь из возка, проезжали по улицам столицы, жадно глаза по сторонам. Васильевка и все, что связано с нею, как-то отодвинулось, стало далеким. Далеким и милым. Худое забылось, хорошее окрасилось в радужные тона.

Особенно вначале, в пору стольких неудач, он тосковал по дому. Хотелось простых радостей: повидать родных, побродить по знакомым местам, поваляться без сюртука на ковре под яблоней, произвести опустошение в плодовом саду. «Часто наводит на меня тоску мысль, что, может быть, долго еще не удастся мне увидеться с вами». Но он дал себе слово вернуться победителем: «Я упрям и всегда люблю настаивать на своем, хотя бы тысячи препятствий лезло мне в глаза».

Он хотел приехать домой, добившись чего-то, и обязательно за свой счет. Верил, что это сбудется.

Весною 1831 года, еще не зная, какая судьба ждет его «Вечера», с полной определенностью писал матери: «В 1832-м году буду иметь возможность приехать к вам, не принеши вам никаких издержек, а в 33-м, в свою очередь, помочь вам». Письмо Гоголя матери. 10 сентября 1832 г

. Автограф.

И вот 1832 год наступил.

В начале марта вышла в свет вторая книга «Вечеров на хуторе». Гоголь писал ее и в Павловске, и затем в Петербурге осенью и зимой. Вскоре Гоголь послал домой в Васильевку пятьсот рублей — старшая сестра Машенька выходила замуж.

В детстве, случалось, они не ладили. Теперь повзрослевший, умудренный нелегким опытом Гоголь с нежностью думал о сестре и в их детских размолвках винил одного себя. «Ради бога, милая сестрица моя, береги свое здоровье, старайся сколько можно отдалять от себя печальные мысли и воображай себе беспрестанно так, как я, что они таки придут, те благословенные времена, когда мы будем снова все вместе и уже в полном довольстве, когда ты увидишь не того причудливого и своенравного брата, который так часто оскорблял тебя, но кроткого, признательного, которого нужды и опыт переродили совершенно и сделали другим человеком».

Маша... Давно ли они ссорились из-за книжки, игрушки, лоскутка бумаги. И вот она невеста.

Кто ее жених, этот Трушковский? Что он за человек? Как сложится ее жизнь? Гоголя заботила судьба сестры, тревожили сумбурные письма матери. Непрактичная Мария Ивановна совсем растерялась: свадьба, приданое, долги... Она боялась всего: недовольства родственников, неприятностей с именем, злословия соседей и... кометы. Андрей Андреевич Трощинский жениха не одобрял: беден, землемер, да к тому же поляк. Мария Ивановна и сама хотела бы выдать дочь за богатого, да красивый землемер полюбился Маше.

Теперь уже не Мария Ивановна писала сыну «мораль» на десяти страницах, а он ее увещевал: «Вы спрашиваете меня, появилась ли точно комета в Петербурге. Охота же вам заниматься ею! Мало ли подобной дряни является каждый год! По мне, хотя бы двадцать комет засветило вдруг и все звезды поприцепляли к себе длинные хвосты, придерживаясь старой моды, мне бы это не больше принесло радости, как прошлого году упавший снег. Впрочем, когда вы мне объявили, что есть комета, то я нарочно обсматривал по несколько часов небо, но никакой звезды, даже короткохвостой или куцой, не встретил. Кто-то, я воображаю, трудится в Полтаве над выдумкою всех этих вздоров? Я думаю, люди все значительные: правитель губернской канцелярии, губернский стряпчий, прокурор. А Марья Васильевна Клименко, верно, развозит все это, как запечатанные письма по провинциям».

Гоголь одобрил желание матери устроить свадьбу безо всякого шума, советовал не принимать близко к сердцу мнения Андрея Андреевича и пересуды соседок, которым захочется узнать, сколько дюжин платков и батистовых сорочек дают за невестой. И бедность жениха его не заботила: деньги — дело наживное. Главное не богатство, а душевные качества.

Гоголь принял участие в предсвадебных хлопотах — бегал по магазинам, выполняя поручения, посылал башмаки, искал полотно, купил сестре платье.

Свадьбу сыграли в апреле. В Васильевке уже буйствовала весна. Петербург же весна не баловала. «Май у нас самый дрянной: дожди и снег беспрестанные, и я не решаюсь долго выезжать на дачу...» Дача под Петербургом.

Акварель К. Кольмана. 1838 г.

В конце мая потеплело, и Гоголь перебрался в домик с мезонином, который снял по дороге в Парголово, близ Поклонной горы. Он занял верх и поместил объявление в газетах, что сдается низ дачи. Желающие нашлись. Вскоре явился какой-то господин:

— Вы публиковали в газетах об отдаче внаем половины дачи?

— Публиковал.

— Нельзя ли мне воспользоваться?

— Очень рад. Не угодно ли садиться? Позвольте вашу фамилию.

— Половинкин.

— Вот и прекрасно! Вот вам и половина дачи!

Тотчас без торгу и порешили. Гоголя позабавило, что половину дачи снял Половинкин. Московская застава.

Гравюра по рисунку А. Горностаева. 1830-е годы.

Но жить на даче пришлось меньше месяца. Девятого июня Гоголь подал прошение статс-секретарю Лонгинову:

«Милостивый государь Николай Михайлович.

Будучи в необходимости ехать по домашним обстоятельствам в имение мое, находящееся в Полтавской губернии Миргородского, повета, покорнейши прошу ваше превосходительство приказать снабдить меня надлежащим отпуском на каникулярное время».

В тот же день отправлено было письмо в Васильевку: «Новостей нет никаких, выключая разве той, что я в будущем месяце, может быть, увижусь с вами, разумеется, если ничто не помешает; впрочем не советую вам слишком предаваться надежде: очень может случиться, что я вас и обману».

Помех не оказалось, и в конце июня Гоголь вместе с Якимом пустился на перекладных в далекое путешествие из Петербурга в Полтавскую губернию.

Три с половиной года прожил он в Петербурге, и прожил не зря — он был еще очень молод, а его имя уже стало известно в России.

ВОЗВРАЩЕНИЕ И ХЛОПОТЫ

Плетнев недоумевал и даже досадовал — оригинал этот Гоголь: занятия в институте давно начались, а его нет как нет. Испросил отпуск, уехал и как в воду канул, хотя бы весточка. Начальница недовольна — младшее отделение без учителя истории. А где его сыскать?

Наконец, в сентябре пришло письмо, в октябре — другое. Гоголь писал: «Здоровы ли вы, бесценный Петр Александрович? Я всеминутно думаю об вас и рвусь скорее повеситься к вам на шею. Но судьба, как будто нарочно, поперечит мне на каждом шагу. В последнем письме моем, пущенном 11 сентября, я писал вам о моем горе: что, поправившись немного в здоровья своем, собрался было ехать совсем; но сестры мои, которых везу с собою в Патриотический институт, заболели корью и я принужден был дожидаться, пока проклятая корь прошла. Наконец, 29 сентября я выехал из дому и, не сделавши 100 верст, переломал так свой экипаж, что принужден был прожить целую неделю в Курске, в этом скучном и несносном Курске. Вы счастливы, Петр Александрович! вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными зрителями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешивает им генеральская рука. Но завтра, чуть свет, я подвигаюсь далее, и если даст бог, то к 20 октябрю буду в Петербурге. А до того времени, обнимая вас мысленно 1001 раз, остаюсь вечно ваш Гоголь». Вид на Исаакиевскую площадь со стороны Нового переулка.

Акварель В. Садовникова. 1830-е годы.

Гоголь добрался до Петербурга в самом конце октября. Он привез с собой двух младших сестер, одиннадцатилетнюю Анну и девятилетнюю Лизу, а также Якима, обзаведшегося женой.

Квартира нашлась в Новом переулке, близ Мойки, в доме Демут-Малиновского. Разместив там домочадцев, Гоголь незамедлительно занялся делами.

Дел оказалось множество, и притом не самых приятных.

За опоздание на службу — три месяца с лишним — вычли жалованья двести рублей.

Устройство сестер в Патриотический институт тоже сошло не гладко. Поместить девочек в это заведение Гоголь задумал еще до отъезда домой. «Два здешних института, — писал он матери, — Патриотический и Екатерининский, самые лучшие. И в них-то, будьте уверены, что мои маленькие сестрицы будут помещены. Я всегда хотя долго, но достигал своего намерения».

Достиг он и теперь.

Анну и Лизу в виде особой милости в институт приняли, но с двумя условиями: во-первых — вместо платы за учение будут удерживать жалованье Гоголя. Во-вторых — он обязуется неотлучно состоять при институте.

«13 ноября 1832 г. № 263. — Учитель Патриотического института 14-го класса Гоголь-Яновский, возвратись из домового отпуска, привез с собою двух сестер в том предположении, чтобы определить их в Патриотический институт для воспитания. Девушки сии не могут поступить ни на правах штатных воспитанниц, ни пансионерок, но г. Гоголь просит, чтобы их поместить взамен его жалования, коего производится ему от института 1200 р. в год». Это было представление начальницы института. На него воспоследовала резолюция: «Ее императорское величество соизволила утвердить сие представление, с тем, чтобы милость сия не служила примером впредь для других, единственно по уважению к ходатайству г-жи начальницы института, повелев также и в списках воспитанниц и пансионерок девиц Гоголь-Яновских не считать, за неимением ими права на поступление в Патриотический институт. 5 дек. 1832 г. Н. Лонгинов».

Приняли девочек в приготовительное отделение вместе с семилетними. Несмотря на старания брата — он готовил их, — маленькие провинциалки почти ничего не знали.

Из-за каких-то переделок в институтском здании Анне и Лизе пришлось пожить у брата. Смотрела за ними Матрена — жена Якима. Эта деревенская девушка и в мыслях не имела очутиться в Петербурге. Но в один прекрасный день Мария Ивановна призвала Якима и объявила о своем намерении женить его на Матрене — горничной Маши. Надо же кому-то смотреть за барышнями, которых Николай Васильевич повезет в Петербург. Якима не неволили, спросили его согласия. Он ответил равнодушно:

— Мне все равно. Это как вам угодно.

Так Матрена из Васильевки очутилась в Петербурге.

Были еще хлопоты в опекуном совете. На заложенном имении висел большой долг.

За недосугом Гоголь ни у кого не бывал. Но к Пушкину зашел. Рассказал про свою одиссею в Васильевку и обратно.

— Чего бы, казалось, недоставало этому краю? — говорил он. — Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные.

Уроки в институте, беготня в опекунский совет, заботы о сестрах... Гоголь с ног сбился.

Привыкшие к деревенскому приволью девочки скучали взаперти. Гоголь развлекал их как мог — покупал сладости, водил в зверинец, в театр. В зверинце показывали молодого слона, который исправно выполнял все приказания хозяина: чистил щеткой свои ноги, смахивал пыль со спины платком, звонил в колокольчик, плясал, громко топая огромными ногами.

Гоголь радовался, видя сестер повеселевшими. «Раз повез он нас в театр, — вспоминала Елизавета Васильевна, — и велел нам оставить наши зеленые капоры в санях извозчика;

кончается спектакль, зовем извозчика, а его и след пропал. Пришлось таким образом брату заказывать новые».

Как-то поздно вечером в конце ноября Матрена разбудила уснувших Анну и Лизу и принялась завивать им волосы — Николай Васильевич велел. Завтра с утра повезут их в институт.

Девочкам наконец разрешили явиться. Вскоре Мария Ивановна получила письмо от сына, в котором он просил о детях не тревожиться. Они — в институте. Ученьем не отягощены, пока ничего не делают, а лишь привыкают.

Гоголь вздохнул свободнее. Можно было подумать и о других занятиях.

«Я ПОМЕШАЛСЯ НА КОМЕДИИ»

Девятого января 1833 года в петербургском Большом театре шел спектакль. Состоял он, как обычно, из нескольких пьес. Давали драму в трех отделениях «Ричард Дарлингстон», переведенную с французского, драму в двух действиях «Нищая» — тоже с французского и, как сказано было в афише: «В заключение спектакля дан будет в первый раз Вечер на хуторе близ Диканьки, малороссийская интермедия в одном действии».

Цензор Ольдекоп, разрешивший интермедию, доносил начальству: «Сия интермедия не что иное как одна сцена из прекрасной книги под заглавием Вечера на хуторе близ Диканьки».

Все, даже цензоры, восхищались «Вечерами». Потому известному актеру Василию Каратыгину пришло на мысль в свой бенефис попотчевать публику новинкой — приспособить для театра «Ночь перед рождеством» Гоголя. Правда, от повести остались рожки да ножки. Ее сократили, переиначили, начинили куплетами, изгнали нечистую силу, Оксану сделали дочкой Солохи, а Вакулу — сыном казака Чуба. И все-таки лица, рожденные фантазией Гоголя, заговорили со сцены. Это должно было случиться и не только потому, что «Вечера» нравились публике. Герои Гоголя так и просились на сцену. Плетнев писал уехавшему за границу Жуковскому: «У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства. В его сказках меня всегда поражали драматические места».

После «Вечеров» Гоголь почувствовал, что может писать для сцены.

Еще в отрочестве обладал он удивительным даром — с легкостью изображал различных людей и придумывал им речи. Знал, как поведут они себя, что скажут в том или ином случае.

Однажды Гоголь стал виновником смешного происшествия. У помещиков — соседей Гоголей — справляли именины. За обедом хозяйка, тучная сварливая дама, без умолку болтала о «небывалых» подвигах своего сына — офицера.

— Что бы они делали без моего Васеньки? — беспрестанно повторяла она и уверяла, что сын получил ордена «Георгия на сабельку и Андрея в петличку».

— Да этаких орденов не существует, — возразил один из гостей.

— Не существует! — закричала рассерженная дама. — Так, по-вашему, я выдумала, солгала! Вы сами лгун, и отец ваш и мать лгали. За это-то бог покарал их сына, то есть вас, косноязычием!

— Ме.. ме... ме... ня, — начал было гость заикаясь.

— Да, вас, вас... мекечете, как баран!

Всех рассмешил этот спор. Но смех скоро стих, и только один юноша никак не мог успокоиться — хохотал не переставая. Когда обед кончился, к смешливому молодому человеку подошел его отец.

— Всему есть мера, — сказал он сердито, — в порядочном обществе так не хохочут. Что с тобой сделалось?

— Меня смешил студент.

— Детские отговорки.

— Не говорите этого, — заметил старичок в военном мундире, — не поверите, какая заноза этот студент. Вчера вечером мы животы надорвали, слушая, как он передразнивал почтенного Карла Ивановича, сахаровара.

— Кто он?

— Гоголь, сынок Марии Ивановны.

Во время обеда Гоголь сидел возле юноши и показывал в лицах спор хозяйки с гостем, прибавляя от себя уморительные подробности.

Он мог придумать целую историю про однажды виденного им человека и даже про незнакомого. По какой-нибудь черточке описать его нрав, привычки, симпатии и антипатии. «В самых ранних суждениях моих о людях находили уметь замечать те особенности, которые ускользали от внимания других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но

угадать человека». М. П. Погодин.

Литография. 1840-е годы.

Это свойство привело его к комедии. Он видел своих героев, слышал их голоса. Комедия не давала ему покоя. «Я помешался на комедии, — писал Гоголь своему новому приятелю Михаилу Петровичу Погодину. — Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей».

В Москве Гоголь останавливался на пути в Васильевку и обратно. Московские литераторы приняли его радушно. Погодин — историк, литератор, профессор Московского университета, повез знакомиться с семейством Аксаковых. Глава семейства — Сергей Тимофеевич, его жена и дети были без ума от «Вечеров». Сам литератор, Аксаков страстно любил театр, печатал о нем статьи и охотно согласился познакомить Гоголя с писателем Загоскиным, занимавшим должность директора московских театров. Гоголь просил об этом. Просил не без умысла: мечтая о комедии, он мечтал и о спектакле. Знакомство состоялось.

— Ну, как тебе понравился Гоголь? — спросил Аксаков у Загоскина.

— Ах, какой милый! — закричал добродушный Загоскин. — Милый, скромный, да какой, братец, умница!

Вернувшись в Петербург, разделавшись кое-как с одолевавшими его хлопотами, Гоголь принялся за комедию. В чистой толстой тетради вывел название: «Владимир 3-ей степени».

Действие комедии происходит в Петербурге. Чиновник Иван Петрович Барсуков — начальник канцелярии — мечтает получить орден Владимира 3-ей степени, который дают за особые

заслуги и долговременную службу. Барсуков одержим этим. Это цель его жизни. Он готов достичь ее всеми правдами и неправдами. У Барсукова есть брат Хрисанфий, которого он обошел, подделав завещание и присвоив наследство тетки. Хрисанфий — «уездный медведь» — приезжает в Петербург судиться с братом. Он попадает к чиновнику Александру Ивановичу. Тот, как выясняется, ненавидит Ивана Петровича и рад ему насолить. Александр Иванович в восторге. Барсуков — мошенник! Покойную тетку звали Евдокия, а под завещанием нацарапано черт знает что — «Обмокни». Завязывается сложная интрига со множеством перипетий. В конце концов мошенник-честолюбец сходит с ума и воображает, что он и есть Владимир 3-ей степени. С. Т. Аксаков.

Акварель неизвестного художника. 1830-е годы.

Столичные чиновники разных калибров, знатные господа, богатые барыни, слуги — всех их Гоголю хотелось вывести в своей комедии. Показать ничтожность их помыслов, пошлость их жизни. За все последние годы он насмотрелся на них, особенно на чиновников.

Гоголь писал и радовался: сколько соли, смеху, злости! Написал несколько сцен и приуныл: какая цензура пропустит это? А если и пропустит, государь не дозволит. Как известно, он вникает во все.

Николай действительно поспеивал повсюду. Он был личностью заурядной, посредственностью, к тому же малообразован, потому что в юности уклонялся от учения. Жуковский, обучавший его жену — немецкую принцессу — русскому языку, говорил, что никогда не видел Николая с книгой в руках. Но придворные льстецы так вскружили царю голову, что он вообразил себя гением, знающим все и способным безошибочно разрешать любые вопросы.

Он давал указания не только фельдфебелям насчет ружейных приемов, но и художникам и писателям. Объявил себя верховным цензором Пушкина, правил его стихи. Драматургу «Борис Годунов» рекомендовал переделать в роман наподобие Вальтера Скотта. Переубедить его в чем-нибудь не было никакой возможности.

Как-то раз царь проходил по Эрмитажу с известным художником академиком Бруни. Остановились перед картиной. Царь сказал: «Это фламандец». — «Но, ваше величество...» — «Нет, уж ты, Бруни, не спорь: фламандец». Утро делового человека.

Литография. Середина XIX в. В кабинете.

Деловой человек: Попка шалун, попке каши !..

Попугай: Дуррак!!.. В приемной.

Мать. Подождем немножко, долго ждали... Офицер: Верно чем-нибудь экстренно-нужным заняты.

Помимо военной муштры Николай испытывал особое влечение к театру.

Еще будучи великим князем, он приказал у себя в Аничковом дворце устроить маленький театр и сам играл некоторые роли в французских пьесах. Став императором, он глаз не спускал с петербургских театров. На столичной сцене запрещалось показывать все, что хоть в малейшей степени походило на правду. В театральную дирекцию то и дело летели бумаги: «Государь император не соизволяет на представление». Дальше шло название трагедии, комедии, оперы и даже балета. Цензура запрещала показывать на сцене «в гнусном и смешном виде» военных, полицию, чиновников, чтобы не уронить их престиж, Николай часто говорил: «Россией управляют столоначальники».

А во «Владимире 3-ей степени» — не какой-то столоначальник, а начальник канцелярии аттестуется так: «...Произведен! а? какво?»

Взяточник, два раза был под судом, отец — вор, обокрал казну, гнуснейший человек, какого только можно представить себе». А сестра Барсукова, столичная барыня, чтобы разлучить сына с бедной девушкой, которую он любит, подговаривает прохвоста Собачкина «немножко замарать» доброе имя девушки и не жалеет для этого двух тысяч рублей. И прочие не лучше. Богатая барыня Губомазова сама сечет своих девок.

Гоголь комедию не дописал — бросил. «Вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит, — объяснял он Погодину свое решение. — А что из того, когда пьеса не будет играть? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела... Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости!» Самый высокий человек в России. Карикатура французского художника Г. Дорэ на Николая I (из его книги «История святой Руси»).

«ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ О НАШИХ?»

В начале 1832 года Гоголь писал Данилевскому: «Что тебе сказать о наших? Они все, слава богу, здоровы, прозябают по-прежнему, навещают каждую среду и воскресенье меня, старика, и к удивлению, до сих пор еще ни один из них не имеет звезды и не директор департамента». Под словом «наши» Гоголь разумел товарищей по Нежинской гимназии, которые жили в Петербурге и которых он в шутку называл то «однокорытники», то «одноборщники».

С тех пор как дела его улучшились, Гоголь мог принимать у себя товарищей, не боясь более упреков Марии Ивановны в расточительности. Да и расточительность была невелика — чай с кренделями, а то и с сухариками собственного изготовления. Елизавета Васильевна вспоминала, что брат, когда они жили у него до поступления в институт, ожидая гостей, «сам смотрел за всем и даже сам приготавливал какие-то сухарики, обмакивая их в шоколад, — он их очень любил».

Гоголь не хвастал, рассказывая в письме дядюшке, что умеет шить, стряпать, малярничать. Летом в Васильевке выкрасил стены и потолок в зале и гостиной, разрисовал их бордюрами, букетами, арабесками. И теперь сам, по своему вкусу, устроил все в петербургской квартире: расставил мебель, книги, безделушки. Только шить занавески нанял женщину, но кроил и показывал, как шить, сам.

Он терпеть не мог симметрии. Мебель у него стояла не по стенам, как у всех, а в углах и посередине комнаты. Столы — у кровати, у печки. Он и в гимназии делал все по-своему. На замечания возражал:

— Что я, попугай. Я сам знаю, что мне нужно!

Он был своеобразен и в большом, и в малом. Раньше его за это обзывали дураком, теперь оригиналом. Он не обижался и всегда умел ответить. Как-то во время гулянья в гимназическом саду Гоголь пошел наперерез товарищам и нечаянно толкнул одного из них. Тот сказал:

— Дурак!

— Ну, а ты умный, — ответил Гоголь, — и оба мы соврали.

Профессор Никитенко записал в своем дневнике: «Был на вечере у Гоголя-Яновского, — автора весьма приятных, особенно для малороссиянина „Повестей пасичника Рудого Панька“. Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие. У него застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанники нежинской гимназии».

Гимназических товарищей тянуло к Гоголю. С ним было интересно. И в Нежине, когда он, щуплый, остроносый мальчишка с насмешливыми глазками, рассказывал о чем-нибудь, изображал кого-нибудь, и теперь, когда он стал писателем.

Приходили Николай Прокопович, прозванный Красненьким за румяное лицо, Иван Пащенко, Евгений Гребенка, Аполлон Мокрицкий, Константин Базили — Базиль, Василий Любич-Романович и другие.

Больше других любил Гоголь Прокоповича. Чувствовал его преданность, ценил деликатность. Красненький никогда ничего не выпрашивал. Скажешь — хорошо, и не скажешь — тоже. Не пенял за скрытность. Они часто виделись. То Прокопович являлся к Гоголю, а то Гоголь брал извозчика и катил к Прокоповичу в Свечной переулок. Заставал в халате с трубочкой. Пили чай, разговаривали, валялись на диване. Прокопович был беден, перебивался уроками, бегая по городу из конца в конец. В гимназии он пробовал сочинять, участвовал в спектаклях. И теперь изредка печатал стихи, задумал идти на сцену, для чего посещал театральное училище. С актерством не вышло. С сочинительством тоже. Гоголь огорчился. «Изо всех тех, которые воспитывались со мною, — рассказывал он Плетневу о Прокоповиче, — у него раньше чем у всех других показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива, все... прочило в нем плодовитейшего романиста». Но сам Прокопович не верил в свой талант и, намыкавшись, все больше склонялся к мысли остаться учителем, получить казенное место, верный кусок хлеба. Н. Я. Прокопович.

Литография. 1840-е годы.

И Ивана Пащенко бог не обидел способностями. Большой выдумщик, он в гимназии тешил товарищей невероятными историями, за что и получил прозвище Вральник. Гоголь любил его за мягкость характера, чуткость к прекрасному, называл «музыкальная душа». А «музыкальная душа» скрипел пером в министерстве юстиции, тянул чиновничью ляжку.

Аполлон Мокрицкий тоже поначалу подался в чиновники, поступил в департамент горных и соляных дел. А потом оставил службу и занялся живописью. Е. П. Гребенка.

Литография. 1840-г годы

Василий Любич-Романович, как и большинство его товарищей, тоже был чиновником, служил в одном из департаментов министерства юстиции. Любовь к литературе, которую сохранил он с гимназических лет, побудила его заняться переводами. Переводил он с польского, немецкого, французского, английского и итальянского прозу и стихи, печатался в журналах. Он еще раньше Гоголя сотрудничал у Дельвига в «Литературной газете». К. М. Базили.

Литография. 1840-г годы.

В 1833 году на квартире Гоголя стал бывать смуглый грек Константин Базили, который незадолго перед тем при-,ехал в Петербург. Появление Базили обрадовало Гоголя — они дружили в гимназии. Базили был родом из Албании. В городах южной России жило немало греков. Одни поселились здесь издавна, другие недавно, спасаясь от жестокости турок, поработивших их родину. Родные Базили принадлежали к последним. Летом 1822 года в Нежинскую гимназию пришло известие от ее попечителя графа Кушелева-Безбородко, что он

намеревается прислать для учения «несколько детей греческих семейств, ныне по смутным обстоятельствам находящихся в Одессе». Вскоре шесть греческих мальчиков прибыли в Нежин. Одного из них звали Константин Базили. За свои двенадцать лет он много пережил и рассказывал товарищам о борьбе за свободу Греции, об ужасах кровавой расправы с греками в Константинополе, о разрушении древних Афин. Гоголю запомнились эти рассказы. Он восхищался землей Эллады.

Земля классических, прекрасных созиданий,

И славных дел, и вольности земля!

Афины, к вам в жару чудесных трепетаний.

Душой приковываюсь я!

Так писал Гоголь в «Ганце Кюхельгартене».

В Петербурге Базили определился на службу в министерство иностранных дел — мечтал стать дипломатом. Для этого у него имелись данные.

Пожалуй, единственным из товарищей, появление которого вызывало у Гоголя смешанное чувство недоумения и досады, был Нестор Кукольник. Казалось бы, почему? Красноречивый, начитанный, прекрасный музыкант, Кукольник обладал и поэтическим талантом. Но... Гоголь еще в Нежине дал ему насмешливое прозвище Возвышенный. Все у Возвышенного было ненатурально, высокопарно — его стихи, трагедии, разговоры, игра на школьной сцене. Гоголь не мог без смеха вспомнить, как Кукольник, играя Дмитрия Самозванца в трагедии Сумарокова, с пафосом выкрикивал последний монолог и, подобно трупу, грохался наземь. На многих это производило сильное впечатление, а его, Гоголя, смешило. Его смешило и то, что Кукольник разыгрывает из себя гения, натуру избранную, недюжинную, ходит окруженный толпой поклонников, с одинаковым апломбом толкуя об интегралах и Моцарте, о российской истории и итальянской поэзии — обо всем на свете. И трагедии Кукольника Гоголю не нравились — они были мишурны, фальшивы. От потока громких слов звон стоял в ушах. Н. В. Кукольник.

Портрет работы А. Мокрицкого. 1835 г.

После окончания гимназии Кукольник служил учителем словесности в Вильне, а в 1833 году переехал в Петербург и определился на службу в канцелярию министра финансов. С гимназических лет он мало переменился. Вне канцелярии это был тот же Возвышенный — с теми же повадками и с теми же претензиями.

«Возвышенный все тот же, — писал Гоголь Данилевскому, — трагедии его всё те же.

Тасс его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть стопы бумаги. Характеры всё необыкновенно благородны, полны самоотвержения... А сравнениями играет, как мячиками; небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние:

губы посинели у него цветом моря, или:

тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи ни что против нынешних. Пушкина всё по-прежнему не любит.

Борис Годунов ему не нравится».

Как некогда в Нежине, Кукольник в Петербурге искал популярности и без особого разбора вербовал поклонников. Он читал свои трагедии во многих домах, и среди не слишком взыскательной публики пошли слухи, что появился новый гений, который вскоре затмит Пушкина. Кукольник и сам поддерживал эти слухи. Худой, очень длинный, бледный, с большим носом, оттопыренными ушами, он, несмотря на нескладную внешность, умел произвести впечатление, когда, наэлектризованный чтением очередной трагедии и ужином с обильными возлияниями, пророчески изрекал:

— Пушкин, бесспорно, поэт с выдающимся талантом, но он легкомыслен и не создал ничего значительного, а если мне бог продлит жизнь, то я создам нечто прочное, серьезное и, быть может, дам новое направление нашей литературе...

К Гоголю Кукольник предпочитал приходиться один, без товарищей, «душил трагедией» и говорил так пространно, туманно, вяло, что Гоголь не мог понять, «какой он секты» — какого направления придерживается в литературе.

О себе Гоголь знал, «какой он секты». Он был с Пушкиным. И, как бы споря с Кукольником и в назидание ему, писал о Пушкине, о его поэзии: «Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт».

«МЕЛКОГО НЕ ХОЧЕТСЯ! ВЕЛИКОЕ НЕ ВЫДУМЫВАЕТСЯ!»

Год 1833-й принес Гоголю много огорчений. Прежде всего — недовольство собой.

«Владимир 3-ей степени» не был написан не только из-за смелости и сатирической злости. Слишком резок был переход от радужных «Вечеров» к убийственной картине петербургского общества. И какой картине — необъятной по обширности. «Он слишком много хотел обнять в ней», — справедливо заметил Плетнев. Даже блистательному, мгновенно созревшему таланту такая задача оказалась не по плечу.

Гоголь страдал от бездействия и сомнений. Он предъявлял к себе высокие требования, и все, что начинал, представлялось легковесным. «Мелкого не хочется! великое не выдумывается!» «Мысли так растеряны, что никак не могут собраться в одно целое, и не один я, всё, кажется, дремлет. Литература не двигается».

Ощущение неподвижности всего окружающего еще более угнетало и усугубляло душевный разлад. На вопросы Марии Ивановны о его занятиях и времяпрепровождении отвечал он раздраженно: «Вы пишете, чтобы я об себе писал вам. Что же такое писать? Ну, я, слава богу, жив и здоров, чего и вам желаю. Когда проснусь, то одеваюсь; потом завтракаю; часа через четыре или пять обедаю; когда же наступит ночь, то ложусь спать; и так каждый день проходит. Не делаю совершенно ничего».

Гоголь преувеличивал.

Он пытался работать. Начинал то одно, то другое. Рвал и сжигал написанное и начинал все сызнова. В его больших дешевых тетрадях с кожаными корешками, купленных в захудалой бумажной лавочке, появлялись отрывки, наброски статей, рецензий, повестей, перемежаясь друг с другом.

«Страшная рука повесть из книги названием: лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16-ой линии». Название и несколько строчек.

А затем — другое. Статья «Об архитектуре». Начата, прервана, продолжается на другом листе, где торопливым почерком запись обрывков разговоров: «Что вам стал вицмундир? почем суконце? — Да, да, знаю, помню. — Да, да? Ну, а расскажите. Да о чем бишь вы говорили? — Подойди, скотина. Вам на столе красного дерева работать и скоблить».

Или такой отрывок: «Фонарь умирал на одной из дальних линий Васильевского острова. Одни только белые каменные дома кое-где вызначивались. Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает, когда все чувствуют 12 часов, когда отдаленный будочник спит, когда кошки, бессмысленные кошки, одни спевываются и бодрствуют! Но человек знает, что они не дадут сигнала и не поймут его несчастья, если внезапно будет атакован мошенниками, выскочившими из этого темного переулка, который распростер к нему свои мрачные объятия». Петербургская улица в дождь.

Акварель К. Кольмана. 1830-е годы.

Далее рассказывается о том, что увидел в щель ставни приехавший из Дерпта студент, очутившийся здесь в эту полуночную пору. Отрывок был невелик.

Другой, о дожде, то же. В нем описываются прохожие, бегущие под дождем по петербургской улице: молодой человек «с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль», суровая толстая дама, боящаяся замочить свое пестрое платье, чиновник «крыса в вицмундире с крестиком» — этакая петербургская амфибия, которую встретишь на улице в любую погоду, «русская борода, купец в синем немецкой работы сюртуке с талией на спине или лучше на шее». Купец держит зонтик над своей половиной, а та — «масса мяса, обернутая в капот и чепчик», плывет с ним рядом, тяжело пыхтя. «Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской бороды, за жадность к деньгам...»

Увиденное, узнанное рвалось наружу. Новый идол — Петербург, — незаметно, исподволь, но неумолимо и властно овладевал его помыслами. Будочник.

Фрагмент акварели Н. Чернецова. 1830-е годы.

Гоголь жаловался на лень, на отсутствие вдохновения.

Друзья не понимали, что с ним творится. Плетнев считал, что одна из причин бездействия Гоголя — холодная квартира, которая вынуждает бегать из дому и не располагает к усидчивым занятиям. Квартира действительно попала холодная. К душевным терзаниям прибавлялись физические. Гоголь жестоко мерз, проклинал гнусный петербургский климат и навьючивал на себя все, что было под рукой. Всякого, у кого в комнатах термометр показывал пятнадцать градусов тепла, он считал счастливецом. Рабочая тетрадь Гоголя.

В мае, когда потеплело, занялся приисканием новой квартиры. Нашел не сразу. В конце июня писал матери: «Пользуясь тем, что многие оставили город, я ищу теперь себе другую квартиру, потому что старая надоела мне до смерти. Она меня заморозила зимою».

Новая квартира отыскалась недалеко от старой, на Малой Морской улице, в трехэтажном доме придворного музыканта Лепена. Дом Лепена на Малой Морской улице, где в 1833–1836

годах жил Гоголь.

Акварель И. Баганца. Середина XIX в.

Малая Морская принадлежала к числу лучших улиц Петербурга. Одним концом она упиралась в Невский проспект. От нее было рукой подать до набережной Невы. Но квартира Гоголя не отличалась роскошью: две маленькие комнаты с перегороденной передней в третьем этаже, вход со двора по темной лестнице. Сюда и перебрался Гоголь с Якимом и Матреной и небогатым своим скарбом.

Здоровье его оставляло желать лучшего. Он плохо переносил городскую духоту и снял дачу в Стрельне, неподалеку от Петербурга.

Уехать в Васильевку не имел возможности: жалованья в институте не получал, ничего не печатал. А домашние дела внушали беспокойство. Муж Маши — Трушковский, порядочный фантазер, уговорил Марию Ивановну завести кожевенную фабрику и шить сапоги на продажу. Зная непрактичность и доверчивость матери, а также положение дел на Украине, где не найдешь покупателей, Гоголь всячески отговаривал от рискованной затеи, но не преуспел и ждал новых бед.

На даче оставался он до конца августа, а затем уже прочно обосновался в новой квартире на Малой Морской. В сентябре, отвечая на письма Погодина, изливал душу: «Ох братец! зачем ты спрашиваешь что я пишу, что я затеваю, что у меня написано? Знаешь ли ты, какой мне делаешь вопрос, и что мне твой вопрос? Ты похож на хирурга, который запускает адский свой щупал в пылающую рану и доставляет больному самую приятную забаву: муку. Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов!.. Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою... Боже, да будет все это к добру!»

Верно, в эти нелегкие дни пристрастился Гоголь писать по ночам, стоя у конторки. Яким приоткрывает дверь, посмотрит неодобрительно, давая понять, что в такую пору все добрые люди уже не первый сон видят, а он махнет рукой, — мол, отстань, не твое дело, убирайся, — а то и чертыхнется сердито. И скроется заспанная Якимова голова, что-то бормоча себе под нос. И опять тишина. Только свеча потрескивает, перо скрипит, да, нарушая ночное безмолвие, изредка донесется с улицы стук запоздалых дрожек, или уныло-протяжный окрик будочника «кто идет?», или мерный топот кавалерийского патруля.

«ТУДА, ТУДА! В КИЕВ!»

В конце декабря 1833 года Гоголь написал лирическое обращение к наступающему Новому году, к своему будущему: «Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно! будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь передо мною, 1834-й год? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня — о, разбуди меня тогда! не дай им овладеть мною!.. Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, — этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодовыми садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом... Там ли?... Я совершу... Я совершу... Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны».

Почему речь пошла вдруг о Киеве и унынье сменилось бодростью?

Летом 1832 года, когда Гоголь по пути в Васильевку останавливался в Москве и познакомился с Погодиным, тот записал в своем дневнике: «Познакомился с Гоголем... Говорил с ним о малороссийской истории. Большая надежда, если восстановится его здоровье. Он рассказывал мне много чудес о своем курсе истории в Патриотическом институте женском в Петербурге. Из его воспитанниц нет ни одной не успевшей».

То, как Гоголь говорил об истории, произвело на Погодина немалое впечатление. Ему захотелось узнать, как преподает Гоголь. И вот к Плетневу пришло письмо с просьбой прислать тетради учениц Гоголя. Плетнев ответил Погодину: «Не думаю, чтобы тетради учениц Гоголя могли вам на что-нибудь пригодиться. Их рассказ уроков его очень приятен, потому что Гоголь останавливает внимание учениц больше на подробностях предметов, нежели на их связи и порядке. Я после вашего письма нарочно пересматривал эти тетради и уверился, что ученические записки все равны, т. е., с ошибками грамматическими, логическими и проч., и проч. Что касается до порядка в истории или какого-нибудь придуманного Гоголем облегчения, — этого ничего нет. Он тем же превосходит товарищей своих, как учитель, чем он выше стал многих, как писатель, т. е. силою воображения, которая под его пером всему сообщает чудную жизнь и увлекательное правдоподобие».

Однако Погодин повторил свою просьбу. Теперь уже не Плетневу, а самому Гоголю, вернувшемуся с Украины в Петербург. Гоголь.

Литография А. Венецианова. 1834 г.

Гоголь просьбу не выполнил. Объяснил, что девочки обезображивают записи уроков вставками из дрянных печатных книжонок, и обещал Плетневу кое-что получше — привезти или прислать свой собственный труд под названием «Земля и люди» — всеобщую географию и всеобщую историю.

Потерпев неудачу с «Владимиром 3-ей степени», Гоголь пытался заняться историей. Комедия мешала. «Примусь за Историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы и — история к черту».

История не писалась. И все же упорно приходило на ум, что именно история — его истинное призвание. Он погрузился в чтение книг по истории. Они разочаровывали: много слов, мало мыслей.

Исключение составляла «История Пугачева» Пушкина. «Пушкин уже почти кончил Историю Пугачева, — писал Гоголь Погодину. — Это будет единственное у нас в этом роде сочинение. Замечательна вся жизнь Пугачева. Интересу пропасть! Совершенный роман!»

История не сухая и мертвая, а увлекательная, живая, волнующая — вот что ему нужно. И писать о близком — как Пушкин. И писать о главном — как Пушкин. И работать — как Пушкин.

Пушкин рылся в архивах, читал документы, письма. Просил очевидцев событий поделиться воспоминаниями. Задумал ехать туда, где действовал Пугачев. Пример Пушкина вдохновлял. «Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили».

Весною 1834 года в газете «Северная пчела», в самом читаемом русском журнале «Московский телеграф» и в газете «Молва» появилось объявление об издании «Истории Малороссийских казаков, сочинения Н. Гоголя (автора Вечеров на хуторе близ Диканьки)».

Объявление дал сам Гоголь. Он извещал публику, что трудится над историей Малороссии и ее народа, уже много успел, но воздерживается печатать, не считая свой труд полным и подозревая о существовании многих неизвестных ему источников, которые, без сомнения, хранятся где-нибудь в частных руках. Гоголь просил «просвещенных соотечественников» присылать ему хотя бы в копиях летописи, записки, песни, повести бандуристов, деловые бумаги, относящиеся к истории Украины. «Мне же прошу адресовать в С. П. Б. или в магазин Смирдина или прямо в мою квартиру, в Малой Морской в доме Лепена, Н. В. Гоголю».

Каждое приобретение восхищало его. «Порадуйтесь находке, — хвастал он Пушкину, — я достал летопись без конца, без начала об Украине, писанную, по всем признакам, в конце XVII-го века».

Воссоздать жизнь народа, его дух, его подвиги — тут особенно помогали песни. «Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!».

Как скупец червонцы, копил он песни. Его верные помощники — мать, сестра Маша, тетенька Екатерина Ивановна — выспрашивали стариков, совершали набеги на кованные сундуки соседей-помещиков, где на самом дне, погребенные среди других старинных бумаг, попадались тетради с песнями.

Он просил присылать и напевы этих песен, ноты. Сам не пел, но любил подтягивать. «Я песен не пою, потому что я мастер только подтягивать. А если бы запел соло, то мороз подрал бы по коже слушателей». Только Якиме да Матрене доводилось слышать, как спивал Николай Васильевич. Но они не роптали и даже вздыхали растроганно, вспоминая свою Полтавщину, деревенские гулянки и захожих бандуристов с дребезжащими голосами.

Любовь к песням сдружила Гоголя с молодым земляком, профессором Московского университета Михаилом Максимовичем.

После выхода «Вечеров» Максимович получил письмо от Сомова: «Я познакомил бы вас хоть заочно, если вы желаете того, с одним очень интересным земляком, — Пасичником Паньком Рудым, издавшим „Вечера на хуторе“, т. е. Гоголем-Яновским... У него есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр., и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарованиями, и знает Малороссию, как пять пальцев, в ней воспитывался». М. Д. Максимович.

Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова. 1840-е годы.

Максимович принадлежал к тем счастливым натурам, которые отпущенные природой таланты приумножают трудом. Ему не было и тридцати, а имя его уже пользовалось известностью и среди ученых и среди литераторов. Он блестяще читал курс ботаники в Московском университете, знал и любил литературу, историю, издавал альманах «Денница», выпускал сборники народных украинских песен, писал статьи и книги. Ему очень хотелось познакомиться с Гоголем.

Узнав, что Гоголь проездом в Москве, Максимович разыскал его в номере гостиницы, и они разговорились. Оба сожалели о краткости свиданья. «Я до сих пор не перестал досадовать на судьбу, столкнувшую нас мельком на такое короткое время, — сетовал Гоголь. — Не досталось нам ни покалякать о том и о сем, ни помолчать, глядя друг на друга». Но связь не прервалась. Они переписывались, обменивались песнями. «Сделайте милость, — просил Гоголь, — дайте списать все находящиеся у вас песни... Вы не можете представить как мне помогают в истории песни».

Вскоре в письмах они перешли на «ты».

В конце 1833 года стало известно, что в Киеве открывается университет. Максимович скучал по родине. Узнав, что появилась возможность продолжать свои занятия на украинской земле, попросил перевести его в Киев. И надоумил Гоголя добиваться там кафедры.

Гоголь загорелся. «Благодарю тебя за все: за письмо, за мысли в нем... Представь, я тоже думал.

Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев! Он наш... Мне надоел Петербург, или, лучше, не он, но проклятый климат его: он меня допекает. Да, это славно будет, если мы займем с тобой киевские кафедры. Много можно будет наделать добра».

В Киев! в Киев! Эта мысль овладела Гоголем совершенно. Ему казалось, что наконец-то осуществится мечта его юности о полезной деятельности на благо человечества. Сколько возможностей! Заниматься любимой историей, читать лекции, вместе с Максимовичем собирать народные песни, писать...

Гоголь хотел занять кафедру всеобщей истории. Чтобы показать осведомленность, решил для начала составить план лекций и представить министру просвещения Уварову. Обратиться за содействием к Жуковскому и Пушкину — они знают Уварова, они помогут.

Двадцать третьего декабря 1833 года Яким отнес на Пантелеймоновскую улицу в дом Оливье конверт с надписью: «Его высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину». «Если бы вы знали, — писал Гоголь Пушкину, — как я жалел, что застал вместо вас одну записку вашу на моем столе. Минутой мне бы возвратиться раньше, и я бы увидел вас еще у себя. На другой же день я хотел непременно побывать у вас; но как будто нарочно все сговорилось идти мне наперекор: к моим геморoidalным добродетелям вздумала еще присоединиться простуда, и у меня теперь на шее целый хомут платков. По всему видно, что эта болезнь запрет меня на неделю. Я решился, однако ж, не зевать и вместо словесных представлений набросать мои мысли и план преподавания на бумагу... Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты. Я восхищаюсь заранее, когда вообразу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украины и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор к сожалению не только на Руси, но даже и в Европе, нет. А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.! Кстати, ко мне пишет Максимович, что он хочет оставить Московский университет и ехать в Киевский. Ему вреден климат. Это хорошо. Я его люблю».

Планы были грандиозные, надежды блистательные. Казалось бы, безжалостные пинки судьбы могли отучить от восторженных мечтаний, отрезвить, высушить. Но нет. В глубине души он по-прежнему оставался неисправимым мечтателем и теперь рвался в «прекрасный» Киев, как пять лет назад в «райский» Петербург. Только светлую комнатку окнами на Неву заменил в его воображении домик с садиком на горе, откуда виден кусочек Днепра.

«МОИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОЧЕНЬ СТРАННЫ»

Министр народного просвещения Уваров, от которого во многом зависела теперь судьба Гоголя, занял свою высокую должность не случайно.

Бенкендорф не однажды советовал царю:

— Не должно, государь, слишком торопиться с просвещением, чтобы народ по кругу своих

понятий не стал вровень с монархами и не посягнул на ослабление их власти.

Николай и не торопился. Он знал, до чего довели Францию все эти философы, писатели, журналисты, и отнюдь не торопился. Гимназии, лицеи, университеты... Николай терпел их как — увы! — неизбежное зло. Профессор Никитенко писал в своем дневнике: «Теперь требуют, чтобы литература процветала, но никто бы ничего не писал ни в прозе, ни в стихах; требуют, чтобы учили как можно лучше, но чтобы учащие не размышляли, потому что учащие — что такое? Офицеры, которые сурово управляют с истиной и заставляют ее вертеться во все стороны перед своими слушателями. Теперь требуют от юношества, чтобы оно училось много и притом не механически, но чтобы не читало книг». Вид от Невского проспекта на Садовую улицу.

Литография И. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е годы.

Для осуществления столь хитрой политики, — с одной стороны, создавать видимость, а с другой, — запрещать, не допускать, удерживать в границах, — требовался соответствующий министр просвещения. И его нашли. Он подходил по всем статьям: образован, сведущ, президент Академии наук, член всевозможных ученых обществ как в России, так и вне ее: французского института, Мадридской Академии истории и так далее и тому подобное. Клад, да и только. Это и был Сергей Семенович Уваров.

Кроме ума и образованности он имел и другие нужные качества, которые вообще-то не украшали его, но давали уверенность, что с делом он справится и будет с усердием служить государю. Даже расположенные к Уварову люди признавали, что для него нет ничего святого, что ради карьеры он пойдет на все и тщеславен до такой степени, что не постыдится утверждать, будто бог, сотворяя мир, советовался с ним насчет плана. К нему-то и отправился Гоголь просить место в Киеве.

Департамент народного просвещения, где начальствовал Уваров, помещался в здании на Садовой улице близ Чернышева переуллка. Место было бойкое, шумное. Крики разносчиков, зазыванья приказчиков, стук копыт, громыханье телег, суета, многолюдье... И еще кабаки с пьяным ором и драками. Гоголь подивился премудрости властей, поместивших здесь и гимназию. Говорили, что, опасаясь за нравственность юношества, гимназическое начальство не раз делало представления, прося закрыть кабаки, но получало ответ, что гимназия-то содержится на доходы от кабаков. С. С. Уваров.

Литография. 1840-е годы

Уваров принял Гоголя с отменной любезностью светского человека европейской складки.

«Как же, как же... Наслышан. И без чинов, прошу вас: не „ваше высокопревосходительство“, а просто — Сергей Семенович. Какие могут быть чины между людьми просвещенными». Заверил Гоголя, что все исполнит. «План преподавания всеобщей истории» одобрил и велел напечатать в «Журнале министерства народного просвещения».

Гоголь видел себя уже на кафедре в Киеве. Единственно, что омрачило его праздничное настроение, — тревога за Максимовича. В Киеве требовался профессор словесности, а Максимович был ботаником. Сам он после некоторых колебаний готов был сменить ботанику на словесность, но заупрямился Уваров. Киев без Максимовича терял для Гоголя всякую прелесть. И Гоголь настоятельно уговаривал друга приехать в Петербург добиваться желаемого. «Я тебя ожидаю. Квартира же у тебя готова. Садись в дилижанс и валяй! потому что зевать не надобно: как раз какой-нибудь олух влезет на твою кафедру». Максимович не зевал. Он оказался практичнее Гоголя: списался с попечителем Киевского учебного округа фон Брадке и получил согласие.

Действительный статский советник фон Брадке, лично известный государю, в недавнем

прошлом полковник, награжденный за усмирение польского восстания орденом Владимира 3-ей степени, золотой шпагой и арендой в 800 рублей на двенадцать лет, имел в глазах Уварова гораздо больше веса, чем все русские поэты, вместе взятые. Против желания Брадке министр не стал, возражать: Максимович так Максимович.

А что касается Гоголя... От Максимовича пришло известие, что на кафедру всеобщей истории в Киеве уже «влез» какой-то Цых. Все зависело от Брадке.

А для Брадке Гоголь был никто. «Он, сколько я заметил, основывается на видимом авторитете и на занимаемом месте, — писал Гоголь Максимовичу. — Ты, будучи ординарным профессором московского университета, во мнении его много значишь. Я же бедный почти нуль для него; грешных сочинений моих он не читывал, имени не слыхивал, стало быть, ему нечего и беспокоиться обо мне».

Дело с Киевом явно расстраивалось, но Гоголь не сдавался. Если бы Уваров захотел повлиять на Брадке... И он ходит к Уварову, ловит на себе неприязненные насмешливые взгляды, какими встречают дежурные чиновники назойливых просителей, и все-таки ходит. «Мои обстоятельства очень странны, — пишет он Максимовичу. — Сергей Семенович сам, кажется, благоволит ко мне и очень доволен моими статьями... И при всем я не могу понять: слышу уверения, ласки — и больше ничего».

В июне 1834 года Максимович один уехал в Киев, а Гоголь все еще пребывал в Петербурге, не зная, что предпринять. Мария Ивановна звала его в Васильевку. Он написал, что не сможет оставить Петербург, боясь «потерять по службе» и не имея денег для путешествия. О своих неудачах и словом не обмолвился. Да Марии Ивановне и без того хватало. Как и следовало ожидать, кожевенная фабрика лопнула, убытки пять тысяч, новый долг на имени. Помочь Гоголь не мог — сам сидел без денег. «Я бы с радостью прислал вам сколько-нибудь, но этот год был и для меня несколько тяжел». Он добился возобновления жалованья в институте, но долгов накопилось тьма-тьмущая, а доходы от сочинений маячили где-то в будущем.

Пока что 1834 год не принес ожидаемых успехов. Но он еще не кончился.

«Я ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ПРОФЕССОР ЗДЕШНЕГО УНИВЕРСИТЕТА»

С Киевом пока что было покончено. Брадке предпочел Гоголю своего знакомого Цыха, адъюнкт-профессора из Харькова, и каких-то старых педантов из недавно закрытого Кременецкого лицея. «Новый университет! Тут бы нужно стараться, пользуясь этою выгодою, набрать новых профессоров, а вместо этого набрали старой плесени из глупого кременецкого лицея». Гоголь не подавал виду, но неудачу с Киевом переживал тяжело. Страдало самолюбие, уязвлена была гордость, а главное — опять ускользала заветная цель.

И вот, когда казалось, что все уже потеряно, вдруг предоставился случай испытать себя и на профессорском поприще. Правда, не в Киеве. В Петербургском университете оказалось свободное место на кафедре всеобщей истории. И то ли Уварову надоели хождения упорного просителя, то ли захотелось уважить Жуковского, но попечитель петербургского учебного округа князь Дундуков-Корсаков летом 1834 года предложил это место Гоголю. Гоголь согласился. «Я решился принять предложение остаться на год в здешнем университете, получая тем более прав к занятию в Киеве. При том же от меня зависит приобрести имя, которое может заставить быть поспешнее в отношении ко мне и не почитать меня за несчастного просителя, привыкшего через длинные передние и лакейские пробираться к месту». Звенигородская улица (бывшая Пятая рота Семеновского полка)

. Фотография. 1973 г.

Год проведет он в Петербургском университете, зарекомендует себя, а потом явится в Киев уже не как просто Гоголь, а как профессор императорского Санкт-Петербургского университета. «Я теперь только профессор здешнего университета», — будто невзначай пишет он домой. А в душе — ликует. Он — профессор. Он добьется своего. Он еще покажет себя пресловутому Брадке.

Занятия в университете начинались в сентябре. Ночь накануне своей первой лекции Гоголь провел беспокойно. Не то чтобы он не был уверен в себе. Лекцию подготовил, обдумал и даже выучил наизусть, чтобы не сбиться. Но, зная свою робость в незнакомом обществе, происходящую от слабости нервов, опасался ее выказать и тем произвести неблагоприятное впечатление. До сих пор учил он маленьких девочек, а тут студенты второго курса филологического отделения, юноши немногим младше его.

В новом профессорском мундире (царь требовал, чтобы все носили мундиры), который, к великому огорчению, сидел на нем мешком, Гоголь отправился в университет.

Петербургский университет был открыт в 1819 году на Васильевском острове в знаменитом здании Двенадцати коллегий, построенном еще при Петре I. Там занимал он четыре корпуса из двенадцати. Но университет, как видно, был не в чести, и с 1823 года из просторного помещения коллегий его перевели на край города в старый дом на углу Кабинетской улицы и Пятой роты Семеновского полка. Это считалось временным. Обещано было возвести новое здание, но его почему-то никто не возводил, и университет уже одиннадцатый год как теснился на Кабинетской.

Явившись на факультет, Гоголь в сопровождении инспектора прошел в аудиторию, где собрались студенты. Раскланявшись, встал он у окна, чувствуя на себе множество любопытных взглядов. Как ни пытался скрыть беспокойство, но бледность лица и движения рук — он то вертел шляпу, то мял перчатку — выдавали тревогу.

На лекции должен был присутствовать ректор, но он все не шел. Ожидание затягивалось. И Гоголь решился. Подойдя к кафедре, встал он на первую ступеньку и, говоря о том, что собирается читать, перешел на вторую ступеньку, а затем и на третью. Говоря, одушевился. Тут бы и начать ему лекцию, но явился ректор, и лишь после соблюдения всех церемоний, Гоголь смог продолжать.

Не прошло и пяти минут, как новый профессор совершенно овладел вниманием слушателей. Он повел их во мрак средневековой истории, воскрешая давно прошедшее. Лекция была блестящая.

Гоголь читал уже второй месяц, когда однажды, в октябре, в сборную залу, где студенты дожидались начала лекции, вошли, переговариваясь, два господина. Один еще молодой, невысокий, с быстрыми движениями и густыми бакенбардами. Другой повыше, постарше, благообразный и медлительный. Все их узнали: Пушкин и Жуковский. Поэты приехали послушать лекцию Гоголя. Пушкин в группе писателей, предположительно в вестибюле Петербургского университета.

Акварель неизвестною художника.

Гоголь еще не появлялся. Гости заглянули в пустую аудиторию, но не вошли и остались в зале.

Вскоре приехал Гоголь, и лекция началась. В ней говорилось об истории аравитян, о правителе Аль-Мамуне. Когда она кончилась, студенты слышали, как Пушкин сказал их профессору:

— Увлékательно...

Успехи на профессорском поприще, к сожалению, оказались кратковременными. Тому были разные причины.

«О, НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ!»

Вскоре после назначения профессором Петербургского университета Гоголь писал Максимовичу: «Я тружусь, как лошадь, чувствуя, что это последний год, но только не над казенною работою, т. е. не над лекциями, которые у нас до сих пор еще не начинались, но над собственно своими вещами».

Говоря «последний год», Гоголь имел в виду последний год своего пребывания в Петербурге, а под «своими вещами» подразумевал несколько новых повестей.

То, что ранее появлялось в его тетрадях в виде набросков и набросков, «ста разных начал», обретало законченность, плоть и кровь.

В голове этого болезненного молодого человека шла гигантская работа. Отметая суету, волнения, хлопоты, он писал одновременно несколько повестей, готовил два сборника. Один назывался «Миргород», с подзаголовком: «Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки». Название второго было «Арабески. Разные сочинения». Невский проспект.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

В «Миргород» вошли «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Последняя была написана еще в 1833 году и, во исполнение долга, отдана Смирдину в его альманах «Новоселье». Остальное родилось позднее.

«Тарас Бульба» — из занятий историей. Писатель пересилил историка, и вместо «Истории Малороссии» появилась героическая эпопея «Тарас Бульба», воспевающая борьбу украинского народа, богатырей-запорожцев, сильных духом и телом, свободолюбивых, бесстрашных.

В «Арабески» вошли три обработанные университетские лекции, десять статей и три повести: «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего» — все три о Петербурге.

За год до того, как эти повести увидели свет, петербургский литератор Башуцкий выпустил очень интересное издание: «Панорама Санкт-Петербурга» — изящные томики, набранные мелким шрифтом, и несколько тетрадей гравюр. Это было описание Петербурга, его истории, его жителей, их нравов и занятий, и иллюстрации к нему. Невский проспект.

Литография К. Гампельна. 1830-е годы. На Невском проспекте в два часа дня.

Рисунок из альбома 1830-х годов.

Башуцкий описывал город в разное время суток. Вот как, по его словам, выглядел Невский проспект с двух до трех часов дня, когда здесь гуляла «хорошая публика»: «Два часа пробило на башне Городской Думы; народ называет это время

обедом, высшие сословия:

перед обедом ; потому-то первых убывает, а других прибывает на улицах. Мы Тотчас пойдем вдоль прекрасного проспекта, тянущегося от Адмиралтейства к Невскому Монастырю. Этот проспект, обширное поле для наблюдений... Посмотрите, как расцветивается уже широкий, освещенный солнцем тротуар левой стороны этой улицы. Дамы, девы, девицы, военный, статский, старый, малый, вельможа, денди, журналист, все в условный час спешат на Невский проспект. Заметьте вкус и роскошь нарядов, разнохарактерные выражения лиц, отличие поступи и приемов». «Невский проспект».

Рисунок Д. Кардовского. 1904.

Таким видели блистательный Невский проспект петербургские жители. А вот каким в эти же часы увидел его Гоголь: «Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец, выпивших чашку кофию и чаю... Все что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках... В это благословенное время от 2-х до 3-х часов пополудни... происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольский сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстух, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление». Мужчина в длинном сюртуке.

Рисунок из альбома 1830-х годов.

Автор «Невского проспекта» обладал редчайшим даром — «гениальным взглядом на вещи», видел то, чего не дано было видеть другим, проникал в суть явлений. Казалось бы, тот же Невский проспект. Но как все изменилось! Будто сдернуты розовые очки с глаз смотрящего, исчезли нарядные дамы и господа. Оказалось: людей-то собственно, нет, одна видимость. Есть странное сборище — усы, бакенбарды, носы, сюртуки, башмачки, шляпки.

Невский проспект с его фантазмагорией превращений был для Гоголя не просто красивой улицей. Он олицетворял Петербург, город-хамелеон, который лишь прикидывается благопристойным и чинным, а на деле страшен, зловещ, загадочен. И хотя этот город умеет притворяться, обольщать, обманывать, он, Гоголь, разгадал его, поймал с поличным. И, разгадав, ужаснулся. И страстно захотел ужаснуть других. Открыть им обман. Предупредить. Уберечь.

«О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? — Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? — Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой... Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов, фореитеры кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».

Блеск Невского проспекта — мираж, обман. А правда?

Правда — это наивный благородный мечтатель художник Пискарев, терзаемый отчаянием в своей убогой комнате. Его бессовестно обманул Невский проспект, подсунув в обличии дивной красавицы, неземного создания — продажную женщину.

Правда — это самодовольный, пошлый поручик Пирогов, которого высекли за волокитство подвыпившие немцы-ремесленники. Он сперва вознегодовал, хотел жаловаться, а потом съел в кондитерской два слоеных пирожка, успокоился и даже тем же вечером отличился в мазурке.

Правда — это погубивший свой талант художник Чартков.

Правда — это ничтожный, жалкий чиновник Поприщин, бесцельно бродящий по сумрачным петербургским улицам и горестно размышляющий о царящей вокруг несправедливости. Ничего-то он не может урвать у жизни. Один у него способ возвыситься — сойти с ума и вообразить себя испанским королем. Уголок старой Коломны.

Фотография. 1973 г.

Правда — это петербургская окраина — Коломна. «Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движения. Сюда переезжают на жительство отставные чиновники, вдовы, небогатые люди... выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофею да на четыре сахара, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность... Тут есть старухи, которые молятся, старухи, которые пьянствуют, старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина моста до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек, словом, часто самый несчастный осадок человечества...»

Эту правду подсказывала сама жизнь. Петербургские типы.

Литография И. Щедровского. 1840-е годы.

«ДИВНО УСТРОЕН СВЕТ НАШ!»

Подобные происшествия случались в Петербурге. Однажды осенью на Каменном острове, близ дачи графа Ланского, обнаружен был труп прилично одетого молодого человека лет двадцати трех с простреленной головой. Тут же валялся пистолет. Тело самоубийцы уже обезобразили подбравшиеся к нему ночью волки и собаки, и люди, нашедшие его, поспешили вырыть неглубокую могилу и укрыть останки. Они знали, что труп все равно извлекут для произведения следствия.

А тем временем в Петербурге друзья разыскивали пропавшего учителя Пажеского корпуса Петра Попова. На четвертый день нашли они свежую могилу и подле нее хорошо им знакомые плащ, фрак и жилет. Так узнали имя самоубийцы.

Профессор Никитенко, друг Попова, аттестовал его как человека с блестящим умом, отличными дарованиями и богатой фантазией. Что же заставило столь многообещающего

юношу лишить себя жизни? Накануне он сделал предложение понравившейся ему девушке. Она его отвергла. Юноша застрелился. Но побудила его к этому не только несчастная любовь. Причины были глубже.

В тридцатые годы прошлого века население Петербурга составляло около четырехсот пятидесяти тысяч человек. И, по скромным подсчетам петербургской полиции (она в таких случаях отличалась крайней скромностью), на каждые двадцать тысяч триста шестьдесят жителей приходилось в год одно самоубийство. По сведениям, почерпнутым «из наивернейших источников» (так уверяет Башуцкий), в домах умалишенных столицы в 1832 году содержалось, например, всего лишь двести восемьдесят пять человек. Они страдали «безумием, бешенством и задумчивостью». На первый взгляд — немного. Но, по свидетельству автора другой тогдашней книги о Петербурге — Пушкарева, — «В Петербурге, где большая часть населения составлена из людей, проводивших первые лета юности или за границею или внутри России, ипохондрия почти обыкновенная болезнь. Воспоминания о родине, сердечные утраты, обманутые надежды... превращают в ипохондриков людей, прежде не показывавших ни малейших следов сей болезни». Ипохондрией называли состояние мрачной безнадежности, подавленности. Невский проспект у Гостиного двора и Городской думы.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы. Магазины на Невском проспекте.

Литография П. Иванова по

рисунку В. Садовникова. Фрагмент. 1830-е годы.

Герои «Невского проспекта» и «Портрета», художники Пискарев и Чартков, сходят с ума и кончают жизнь самоубийством. Сходит с ума и чиновник Поприцин из «Записок сумасшедшего». И виноват в этом Петербург, весь уклад его жизни. На Садовой улице (бойкая торговля).

Литография К. Бегрова по рисунку К. Сабата и С. Шифляра. Фрагмент. 1820-е годы. Купеческая семья на прогулке.

Литография Р. Жуковского. 1840-е годы.

Робкий мечтатель Пискарев погиб не будучи в силах вынести страшного «раздора мечты с существенностью».

Что же погубило художника Чарткова — человека совсем иного склада?

В своем лирическом обращении к 1834 году Гоголь назвал Петербург городом кипящей меркантильности — то есть торгашества, стремления к выгоде, жадности к деньгам. Петербург не замедлил открыться Гоголю с этой стороны. Здесь даже дворяне — «благородные» — не гнушались наживы и старались извлечь деньги из чего только можно. Так, граф Шереметев сдавал под квартиры часть своего дома на Миллионной. В домах графа Чернышова на Мойке, в роскошном доме со львами князя Лобанова-Ростовского на Адмиралтейской площади тоже были жильцы. Дворяне возводили дома, чтобы получать с них доход. Статский советник Доливо-Добровольский понастроил на Каменном острове дачи и сдавал их внаем. В 1833 году тридцать пять петербургских дворян записались в купцы.

Купец стал значительной фигурой в столичной жизни. Недаром, описывая Невский проспект, Башуцкий вслед за «хорошей публикой» выводит купцов. «Гулянье хорошей публики продолжается до четвертого часа; тогда появляются новые лица. Люди в широких сюртуках, плащах, кафтанах, с седыми, черными, рыжими усами и бородами или вовсе без оных; в красивых парных колясочках или на дрожках, запряженных большими, толстыми, рысистыми лошадьми, едут из разных улиц к одному пункту. На задумчивых их лицах, кажется,

начертано слово: расчет; под нахмуренными бровями и в морщинах лба гнездится спекуляция; из пронизательных быстрых глаз выглядывает кредит; по этим признакам вы узнаете купцов, едущих на биржу».

Купцы первой, второй, третьей гильдии... Их было в Петербурге великое множество. Одни ворочали миллионами, владели магазинами на Невском проспекте, где даже безделушки «пахнут страшным количеством ассигнаций», другие торговали на менее респектабельных улицах, на рынках. Чартков в картинной лавочке.

Рисунок Кукрыниксы. 1952 г.

Вторым по величине петербургским рынком был Щукин двор — запутанный лабиринт почище мифологического. Он бесконечно тянулся вдоль Чернышева переулка и выходил на Садовую улицу. В его двухстах шестидесяти пяти лавчонках и лавках можно было купить предметы столь различные, как хрусталь и битая птица, картины и сапоги.

Повесть Гоголя «Портрет» начинается с описания «картинной лавочки» Щукина двора и стоящих перед ней зевак. «Нигде не останавливается столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе.

Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы [2] в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами... Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча».

Перед этой лавочкой невольно остановился проходивший мимо молодой талантливый художник Чартков. Здесь увидел он запыленный портрет какого-то старика со странным смуглым лицом и после торга с другим покупателем зачем-то купил портрет, отдав за него все свои деньги. Глаза старика на портрете смотрели так страшно, что Чартков убежал, оставив покупку в лавке. Дома решил отказаться от портрета и забрать деньги назад. Но той же ночью таинственный портрет необъяснимым образом оказался на стене комнаты Чарткова. Так со Щукина рынка зараза меркантильности проникла в бедное жилище художника и перевернула всю его жизнь.

«ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ В СВЕТЕ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ»

Вскоре после выхода второй книги «Вечеров на хуторе» Смирдин предложил Гоголю добавить еще «сказок» и выпустить новое издание. Гоголь отказался.

«Вы спрашиваете об Вечерах Диканских, — писал он Погодину. — Чорт с ними! Я не издаю их. И хотя денежные приобретения были бы не лишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекуляционными оборотами».

Гоголь ненавидел торгашеское отношение к искусству и с тревогой замечал, что дух меркантильности чем дальше, тем больше пропитывает все, даже литературу. Гоголь был не против того, чтобы литераторы получали вознаграждение за свой труд — иначе чем жить? Времена меценатов и писателей-любителей прошли.

И Пушкин говорит:

Не продается вдохновенье,

Но можно рукопись продать.

В Гостином дворе (купцы зазывают Булгарина).

Литография Р. Жуковского. 1840-е годы.

Беда заключалась в том, что торговали и вдохновеньем, писали по заказу, побольше и поскорее. Стоило зайти к книгопродавцам, полистать журналы, чтобы убедиться в этом. Десятки сочинений являлись на свет отнюдь не по велению высоких помыслов. Их порождала ассигнация. В приложении к журналу «Московский телеграф» — «Трудолюбивом муравье» — напечатано было сатирическое объявление: «Нижеподписавшийся, русский литератор, сим честь имеет известить, что по заказу принимает он на себя поставку оригинальных исторических романов, романтических трагедий и переделанных на русские нравы водевилей... За оригинальный исторический роман в 4 томах, с любовью, русскими и мужицкими фразами, множеством собственных имен, и, по крайней мере, пятьюдесятью выписками из истории, Карамзина, и двадцатью описаниями нравов, обычаев и одежд, взятыми из книги Успенского — цена 300 рублей ассигнациями. За романтическую трагедию, с совершенным несоблюдением единства действия, времени и места, в пятистопных стихах, без рифм — 100 рублей».

В первой своей части «Объявление» метило в Булгарина. Но Булгарин преуспевал. Греч тоже. Булгарин купил себе имение под Дерптом, Греч — дом на набережной Мойки. Их пример был соблазнителен. Деньги кружили головы, делали доступными соблазны столицы. И Гоголь написал повесть о злой силе золота, о художнике, предавшем искусство, не устоявшем против соблазна денег и легкого успеха.

Странный старик с портрета, купленного в Щукином дворе, той же ночью явился Чарткову и сказал: «Ты думаешь, что долгими усилиями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь... ты получишь завидное право кинуться с Исакиевского моста в Неву, или, завязавши шею платком, повеситься на первом попавшемся гвозде; а труды твои первый маляр, накупивший их на рубль, замажет грунтом, чтобы нарисовать на нем какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все делается в свете для пользы. Бери же скорее кисть и рисуй портреты со всего города! Бери все, что ни закажут; но не влюбляйся в свою работу, не сиди над нею дни и ночи; время летит скоро и жизнь не останавливается. Чем более смастеришь ты в день своих картин, тем больше в кармане будет у тебя денег и славы».

В раме портрета, в тайнике, оказался сверток с золотом. Чартков бросил бедную свою комнату на Пятнадцатой линии Васильевского острова, упорный труд и, как учил его старик, заделался модным живописцем, рисуя портреты со всего города, угождающим заказчикам и гребущим золото.

До поры до времени Чартков был доволен. Он стал рассуждать весьма мудро, что, мол, вдохновенье — вздор, что «все необходимо должно быть подведено под строгий порядок аккуратности и однообразия». Сундуки его наполнились золотом. Уже не стремление к совершенствованию, а «золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью».

Однажды Чарткова пригласили приехать в Академию художеств и высказать свое суждение о присланной из Италии картине русского художника. Художник этот, некогда товарищ

Чарткова, уехал в Италию совершенствоваться. Там терпел он нужду и голод, но искусству не изменил, и теперь прислал в Петербург плод своего труда. Картина была так прекрасна, так вдохновенна, фигуры, изображенные на ней, дышали такой прелестью, что Чартков был потрясен. С ужасом понял он, что потерял лучшие годы. Хотел начать все сызнова, но не смог, ибо, торгуя своим талантом, изменив правде жизни, превратился в жалкого ремесленника наподобие тех, что малевали картины для Щукина двора. Дикая зависть обуяла Чарткова. Он скупал и уничтожал произведения искусства, лишился рассудка и умер, мучимый кошмарными видениями.

На этом кончается первая часть повести. Во второй ее части рассказывается история таинственного портрета. Гостиный двор. Крайний справа — ростовщик Моджерам Мотомалов.

Литография И. Иванова по рисунку В. Садовникова. Фрагмент, 1830-е годы.

Краски и материалы для этой повести, как и для «Невского проспекта», дал Гоголю Петербург. Изображенный на портрете старый ростовщик, воплощение злой силы золота, жил в Коломне и, судя по его внешности, явился в Россию издалека. «Ходил он всегда в широком азиатском платье, был высокого роста, лицо его было темно-оливкового цвета, нависнувшие черные с проседью брови и такие же усы придавали ему несколько страшный вид». Так описывает Гоголь ростовщика Петромихали. А вот что рассказывает в своих «Записках» знакомый Гоголя, актер Петр Каратыгин: «Некоторые петербургские старожилы, вероятно, и теперь еще помнят, например, известного в то время богатого индийского ростовщика Моджерам Мотомалова, который с незапамятных времен поселился в Петербурге и объяснялся по-русски довольно порядочно. Эту оригинальную личность можно было встретить ежедневно на Невском проспекте в своем национальном костюме: широкий темный балахон был надет у него на шелковом пестром халате, подпоясанном блестящим кушаком; высокая баранья папаха, с красной бархотной верхушкой, была обыкновенно заломана на затылок; бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли блистали на желтоватых белках с кровяными прожилками; черные широкие брови, сросшиеся на самом переносье довершали красоту этого индийского набоба». Дворцовая площадь.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы. На Невском проспекте.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

В пестрой петербургской толпе, резко выделяясь среди бледных физиономий коренных столичных жителей, мелькали смуглые лица армян, молдаван, татар, греков, персов и даже индусов, бог весть каким ветром занесенных в Россию.

Действие второй части повести происходит на аукционе, куда по воле случая попал и портрет ростовщика. Здесь продают с молотка произведения искусства, которые гостинодворские купцы стараются купить подешевле, чтобы потом продать подороже, смело перебивая цену, даваемую знатоками-любителями.

Сцена эта невеселая.

«Множество картин разбросано было совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владельца, который, верно, не имел похвального любопытства в них заглядывать... Все было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона странно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелью и картинами, скупо изливают свет; безмолвие, разлитое на лицах всех, и голоса: „сто рублей!“, „рубель и двадцать копеек!“, „четыреста рублей пятьдесят копеек!“, протяженно

вырывающиеся из уст, как-то дики для слуха. Но еще более производит впечатления погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь, искусствам».

Гоголь не раз наблюдал подобные сцены. В двух шагах от его квартиры, на углу Большой Морской и Кирпичного переуллка, стоял деревянный дом с выставленными в окнах картинами и статуями и большими вывесками, извещающими, что здесь находится картинная галерея и магазин Паллаци. В этом доме в одной из зал бывали аукционы, где продавались с молотка произведения искусства. Здесь в апреле 1834 года продавал с аукциона свой «Русский музей» Свинын. На этом аукционе побывал весь Петербург. Одни в качестве покупателей, другие — любопытствующих. И цены, даваемые знатными любителями, здесь смело перебивал купец Паллаци. «Ради бога покупайте, — взывала к своим читателям „Северная пчела“, — а то Г-н Паллаци все купит. Без шуток, он все купит; к тому идет дело. Каждый раз он стоит за аукционистом, и прехладнокровно набавляет цены. Да как еще? не по полтине, не по рублю, а разом десять, пятнадцать, двадцать рублей!.. Берегитесь, г.г. любители; после вы будете покупать у г-на Паллаци вещи из Музеума впятеро дороже!»

Заунывно звучал голос аукциониста, погребально стучал молоток его, и бедные искусства переходили в руки предприимчивого торговца...

«ВЫШЛА ДОВОЛЬНО НЕПРИЯТНАЯ ЗАЦЕПА ПО ЦЕНЗУРЕ»

Готовя в печать «Арабески» и опасаясь цензурных придирок, Гоголь хотел знать мнение Пушкина. Пушкин написал ему о «Невском проспекте»: «Перечел с большим удовольствием: кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось бог вынесет. С богом!»

«Секуция» выглядела так: «Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен».

Офицера высекли какие-то немцы-ремесленники... Цензор категорически запретил «секуцию». Гоголю пришлось написать: «Немцы схватили за руки и ноги Пирогова. Напрасно силился он отбиваться: эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события».

Цензурные неприятности начались для Гоголя еще в 1833 году, когда в альманахе «Новоселье» печаталась «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Профессор Никитенко, назначенный цензором, записал в своем дневнике: «Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердится на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в „Новоселье“. Бедный литератор! Бедный цензор!»

В начале 1834 года Гоголю снова не повезло. На этот раз из-за отрывка «Кровавый бандурист», отданного в журнал «Библиотека для чтения». На заседании Петербургского цензурного комитета Никитенко заявил, что не может пропустить отрывок, так как это «картина страданий и унижения человеческого, написанная совершенно в духе новейшей французской школы». А романы новейшей французской школы по распоряжению высшего начальства не велено было пропускать.

О переводе романа Гюго «Церковь Парижской Богоматери» министр просвещения Уваров сказал Никитенко:

— Роман Гюго превосходен, но нам еще рано читать такие книги.

Власти боялись всего, и цензоры, не обладая даром ясновиденья, часто попадали впросак. Попал в историю и Никитенко. Не мысля худого, он пропустил в журнале «Библиотека для чтения» перевод стихотворения Гюго «Красавице». Поэт в нем высказывал мысль: если бы я был богом, то отдал бы свой рай, своих ангелов и свое могущество за поцелуй красавицы. Стихи как на грех попались одному святоше. Он поспешил донести митрополиту Серафиму. Митрополит взбеленился: кощунство! богохульство! Бросился во дворец, испросил аудиенцию, прочитал стихи царю и умолял защитить веру и церковь от поругания. Николай приказал отправить Никитенко под арест.

Цензоры боялись собственной тени. И, отдавая в цензуру «Арабески», Гоголь с тревогой ждал всяких «зацеп».

«Арабески» попали к цензору Семенову. Сперва, кроме «секуции», все проскочило. Книга ушла в типографию. А тут и с Семеновым приключился казус. Он получил строгий выговор от министра за то, что позволил в журнале «Сын отечества» назвать какую-то святую «представительницей слабого пола». Семенов насторожился. В канун нового 1835 года Гоголь послал записку Пушкину: «Вышла вчера довольно неприятная зацепка по цензуре по поводу Записок сумасшедшего. Но слава богу сегодня немного лучше. По крайней мере я должен ограничиться выкидкой лучших мест».

Напуганного Семенова одолевали сомнения: можно ли вообще пропустить в печать эту повесть о ничтожном чиновнике, который, сойдя с ума, как бы прозревает, видит всю неприглядность окружающего и по праву, данному ему безумием, называет вещи своими именами. Макая перо в красные цензорские чернила, Семенов начал вычеркивать...

Когда Гоголь получил из цензуры рукопись, она ему показалась исполосованной в кровь. Он читал и мрачнел. «Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин». Про дворянина цензор вычеркнул. «Папа... после обеда поднял меня к своей шее и сказал: „А посмотри, Меджи, что это такое“. Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец, потихоньку, лизнула: соленое немного». Так рассуждает собачка Меджи об ордене, полученном отцом ее хозяйки. Вычеркнуто. «Куда ж, подумала я сама в себе, — пишет собачка Меджи, — если сравнить камер-юнкера с Трезором! Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки, совершенно не те. О, какая разница!» Вычеркнуто... «Всё, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам или генералам, — жалуется Поприщин. — Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал». Вычеркнуто. Все политические навеки вычеркнуты. Все упоминания государя — вычеркнуты. Даже последняя фраза: «А знаете ли, что у французского короля шишка под самым носом?» — и та вычеркнута: намек на июльскую революцию во Франции, на свергнутого короля Карла X.

Гоголя так и подмывало повесть изорвать и отправить в печку вместе с цензорскими пометками. Но сдержался. Кляня все на свете, ругая на все лады глупую цензуру, принялся сводить концы с концами. Свел, перечитал и озаглавил не без злорадства, будто мстя кому-то: «Ключки из записок сумасшедшего».

Так и пошло в печать. «Записки сумасшедшего».

Рисунок И. Репина. 1870 г.

«ТОЛЬКО УСЛЫШАТЬ ПРАВДУ»

«Арабески» вышли в январе. «Миргород» — в марте 1835 года. Третий раз в своей жизни Гоголь настороженно листал газеты и журналы — ждал суда критики.

На что он мог рассчитывать здесь, в Петербурге, где тон задавали болгаринская «Пчела» и «Библиотека для чтения»? Этот новый журнал, издававшийся на деньги Смирдина, редактировал Сенковский. В недавнем прошлом профессор университета по восточным языкам, ныне азартный журналист, Сенковский с циничной откровенностью старался всячески угодить почтеннейшей публике, увеличить число подписчиков. В журнале его было все: словесность, наука, промышленность, новости, моды и даже советы, как гасить загоревшуюся в трубе сажу, лечить чахотку и красить нитки. Сам он много писал. Его любимый псевдоним был «Барон Брамбеус». Гоголь называл его писания «брамбеусина». «Арабески».

Титульный лист.

И вот в февральском номере «Библиотеки для чтения» появился отзыв об «Арабесках». Настоящая «брамбеусина» во всей ее красе: глумливая, развязная, небрежно-снисходительная. Статьи Гоголя Сенковский смешал с грязью, а кое-что в повестях свысока похвалил. «Некоторые его страницы в шуточном роде непритворно смешны, и развеселят самого угрюмого человека». Это говорилось о «Невском проспекте» и «Записках сумасшедшего». «Клочки из записок сумасшедшего... были бы еще лучше, если бы соединялись с какою-нибудь идеей». «По роду своего дарования он мог бы смешить и писать хорошие сказки».

В мартовском номере «Библиотеки для чтения» Гоголь обнаружил рецензию и на «Миргород». «Вот это совсем другое дело! — оповещал Сенковский. — Тут нет ни Всеобщей истории, ни Изящных художеств, есть только сказки, и г. Гоголь, у которого мы уже в прошлом месяце заметили особенное дарование рассказывать шуточные истории». Так судила «Библиотека для чтения». Ей вторила «Северная пчела»: «Вообще карикатуры и фарсы, всегда остроумные и забавные, всегда удаются г. Гоголю». «Северная пчела» и «Библиотека для чтения» расходились по всей России, и обе наперебой старались внушить читателям, что г. Гоголь всего лишь мастер смешить, рисовать карикатуры, что, к сожалению, он несколько «грязен», так как любит зачем-то изображать неприглядную сторону жизни.

Каково было Гоголю читать подобные суждения... Он не верил, не мог, не хотел верить, что его повести, писанные кровью сердца, извлеченные из недр души, порожденные ненавистью к несправедливости, злу и пошлости, любовью к людям, могут не дойти до сердца читателей, оставить их равнодушными, быть восприняты как фарсы. Но порой брало сомнение. А вдруг он ошибается, вдруг его голос — глас вопиющего в пустыне, проповедь святого Антония рыбам. Рыбы, как известно, с удовольствием выслушали речь святого и остались такими же жадными и хищными.

Как нуждался он в умной и справедливой оценке содеянного им!

У Пушкина и его друзей не было теперь ни газеты, ни журнала. И Гоголь решился. Написал в Москву человеку, с которым не был знаком лично, но которого уважал и ценил как критика, другу Погодина профессору Московского университета Шевыреву. «Посылаю вам мой Миргород и желал бы от всего сердца, чтобы он для моей собственной славы доставил вам удовольствие. Изъявите ваше мнение например в „Московском наблюдателе“. Вы этим меня обяжете много: Вашим мнением я дорожу. Я слышал также, что вы хотели сказать кое-что об

Арабесках». Письмо кончалось словами: «Жму крепко вашу руку и прошу убедительно вашей дружбы. Вы приобретаете такого человека, которому можно все говорить в глаза и который готов употребить бог знает что, чтобы только услышать правду».

Вскоре в журнале «Московский наблюдатель» появилась статья Шевырева о «Миргороде». На первый взгляд — восторженная. А по сути... Гоголь, говорил Шевырев, превосходный комический писатель. «Читая его комические рассказы, не понимаешь, как достает у него вдохновения на этот беспрерывный хохот». Стихия же комического, по мнению Шевырева, «безвредная бессмыслица». Это, стало быть, и стихия Гоголя. Шевырев жалел, что Гоголь пишет о «низших» слоях общества и призывал его писать «светские повести» о людях «высших» классов. Он тоже не любил в литературе «грязного».

Не этого ждал Гоголь от статьи Шевырева. «Тарас Бульба выше всего!» Будто есть в литературе высокое и низкое, будто случайно стоят они рядом в «Миргороде» — «Тарас Бульба» и повесть о глупейшей ссоре двух помещиков. Какова жизнь, таковы и люди. Там, в Сечи — справедливость, равенство, вольность и люди — богатыри. Здесь — жизнь уродливая, не жизнь — мельтешенье. И люди — уроды. «Кто из русских читателей не знает теперь о знаменитой ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?.. Кто не надрылся от смеху, читая все это?» Не так уж она смешна, эта веселая повесть... Но, верно, и Шевыреву не дано это понять.

«ЖАЖДУ, ЖАЖДУ ВЕСНЫ»

Гоголь очень устал. Уроки в Патриотическом институте, лекции в университете, работа над «Арабесками» и «Миргородом», хлопоты с изданием, цензурные передраги — такое могло подкосить и атлета, а он не был атлетом и последнюю зиму часто хворал.

Даже вышедшие «Арабески» не смог самолично вручить Пушкину. Послал с Якимом, сопроводив запиской:

«Я до сих пор сижу болен, мне бы очень хотелось видеться с вами. Заезжайте часу во втором; ведь вы, верно, будете в это время где-нибудь возле меня. Посылаю вам два экземпляра Арабесков, которые ко всеобщему изумлению очутились в 2-х частях. Один экземпляр для вас, а другой разрезанный для меня. Вычитайте мой и сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки и никак не останавливайте негодование при виде ошибок, но тот же час их всех на лицо. — Мне это очень нужно. Пошли вам бог достаточно терпения при чтении! Ваш Гоголь».

Он не отдыхал по-настоящему с лета 1832 года, с того самого лета, как ездил домой в Васильевну. Желание было, но не было средств. Два года назад писал он Погодину, звавшему его в Москву, что сможет вырваться из Петербурга, только «зашибив большую деньги» — то есть написав «увесистую вещь». Теперь увесистые вещи увидели свет и появилась надежда съездить в Москву и домой, полечиться на Кавказе. Чтобы приблизить это, просит он Погодина: «Пожалуйста напечатай в Московских Ведомостях объявление об Арабесках. Сделай милость, в таких словах: что теперь, дескать, только и говорят везде, что об Арабесках, что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на нее страшный (NB, до сих пор ни гроша барыша не получено) и тому подобное».

На все нужны были деньги — на дорогу, на прожитье, на лечение, на подарки тетушкам, бабушкам, старшей сестре Маше, самой младшей Оле, двум маленьким племянникам Николе и Ване — сыновьям Маши. Да и матери тоже хотел он помочь. После неудавшихся прожектов накопилась уйма долгов.

И еще очень хотелось навестить в Киеве Максимовича.

Максимович писал невеселые письма. Жаловался на одиночество. Гоголь стыдил его: «Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это черт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. И разве можно хандрить, когда вокруг украинская весна в своем буйном цветении... Напиши, в каком состоянии у вас весна. Жажду, жажду весны. Чувствуешь ли ты свое счастье? знаешь ли ты его? Ты свидетель ее рождения, впиваешь ее, дышишь ею, и после этого ты еще смеешь говорить, что не с кем тебе перевести душу... Да дай мне ее одну, одну — и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере на все продолжение ее».

Увидеть хоть кусочек настоящей весны, а не это серое небо, безлиственные деревья, мокрый снег с дождем. Вырваться из каменных тисков столицы, позабыть хоть на время досады и хлопоты, бессонные ночи у конторки, корректуры, цензуру, журнальные кривотолки, надежды, сомнения. Сесть в коляску и катить, катить. И чтобы ветер в лицо, и чтоб деревня на косогоре, и речка, и лес...

В апреле, как только получил от книгопродавцев часть денег за «Арабески» и «Миргород», Гоголь решил бросить все, испросить отпуск и уехать. Ледоход на Неве.

Фотография. 1973 г.

«Его превосходительству господину ректору С.-Петербургского университета действительному статскому советнику и кавалеру Антону Антоновичу Дегурову от адъюнкта Николая Гоголя.

Прошение

Во все течение прошедшего и нынешнего года я находил себя весьма расстроенным в здоровьи. Врачи советуют употребить мне как единственное средство для восстановления оного Кавказские минеральные воды в нынешний курс, начинающийся с мая месяца и оканчивающийся августом. Почему я покорнейше прошу вашего превосходительства исходатайствовать мне от высшего начальства отпуск на четыре месяца, начиная с последних чисел сего апреля по первое число сентября».

Отпуск был получен в университете и в Патриотическом институте. Гоголь отправил домой Марии Ивановне большое письмо, огородных семян, чтобы успели пораньше посеять, конфет для племянников и стал собираться в дорогу.

Он выехал из Петербурга в самом конце апреля, оставив Якима с Матреной сберегать квартиру. Путь его лежал на Москву, а оттуда — в Васильевку, где ждала его встреча с украинской весной.

«Я РАСПЛЕВАЛСЯ С УНИВЕРСИТЕТОМ»

Точно к первому сентября, ни днем позже, Гоголь вернулся в Петербург. Порядки в университете были строгие. Стоило хотя бы по болезни пропустить одну лекцию, как требовали объяснений, завязывалась переписка, дело доходило до попечителя.

Из Патриотического института его уволили. Летом в Васильевку вдруг пришло письмо от Плетнева, что начальница института захотела заменить «одержимого болезнью» и отсутствующего учителя Гоголя другим и что этот другой уже найден. Гоголь встревожился,

написал Жуковскому: «Человек, страшно соскучившийся без Вас, шлет Вам поклон из дальнего угла Руси с желанием здоровья, вдохновенья и всех благ. Может быть, Вы и не догадаетесь, что этот человек есть Гоголь, к которому Вы бывали всегда так благосклонны и благодетельны. Все почти мною изведено и узно, только на Кавказе не был, куда именно хотел направить путь. Проклятых денег не стало и на половину вояжа.

Был только в Крыму, где пачкался в минеральных грязях. Впрочем здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось. Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество... Через месяц я буду сам звонить в колокольчик у ваших дверей, крехтя от дюжей тетради. А теперь докучаю вам просьбою: вчера я получил извещение из Петербурга о странном происшествии, что место мое в Патриотическом институте долженствует заместиться другим господином. Что для меня крайне прискорбно, потому что, как бы то ни было, это место доставляло мне хлеб, и притом мне было очень приятно занимать его, я привык считать чем-то родным и близким».

Не сможет ли Жуковский уговорить императрицу не соглашаться на замену? Жуковский не смог.

Теперь с Патриотическим институтом Гоголя связывали только сестры, которые уже четвертый год воспитывались там. Девочки обрадовались приезду брата. «Я нашла братца гораздо лучше против прежнего, он очень пополнел», — писала Анна матери.

Потеря места в Патриотическом институте особенно заботила Гоголя потому, что он и в университете держался на волоске. Еще зимой, до отпуска, писал он Погодину: «Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более желание будить сонных слушателей».

Почему же так случилось? Почему так быстро наступило разочарование? Вид на Исаакиевский мост через Неву.

Литография. 1830-е годы.

Гоголь пришел в университет как раз в те дни, когда не разгибаясь трудился над «Арабесками» и «Миргородом». Было трудно, тревожно. Не хватало ни сил, ни времени. Он читал первый год, не имел еще опыта, нуждался в поддержке, помощи. А коллеги-профессора его встретили в штыки: мальчишка, чужак, выскочка, не имеющий ни ученых степеней, ни званий, и претендующий на кафедру, да какую — университетскую! Нашлись «ученые недоброжелатели», нашлись просто завистники. На него не без умысла навалили еще курс древней истории. От всего вместе взятого голова шла кругом. Где уж тут было отделять лекции! Студенты же не прощали ему слабых лекций, как «ученые недоброжелатели» — блестящих.

Весной, накануне отпуска, он совсем изнемог. «Живо помню, — рассказывал один из студентов, — последнюю его лекцию: бледное, исхудалое и длинноносое лицо его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде фигура его, а притом еще в вицмундире, производила впечатление бедного угнетенного чиновника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда. Гоголь прошел по кафедре как метеор, с блеском оную осветивший и вскоре на оной угасший, но блеск этот был настолько силен, что невольно врезался в юной памяти».

Даже мысль о том, чтобы вернуться в унылое здание, видеть насмешливые лица, ловить косые взгляды, слышать шепот за спиной, после четырех месяцев свободы была непереносима. И когда в конце года Гоголь узнал, что по случаю преобразования из университета уволено тринадцать человек, в том числе и он, отнюдь не огорчился, а

почувствовал облегчение.

«Я расплевался с университетом, — писал он Погодину, — и через месяц опять беззаботный козак. Неузанный я взошел на кафедру и неузанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся — в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнитесь с большою силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч... Я тебе одному говорю это; другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничем. Мимо, мимо все это! Теперь вышел я на свежий воздух».

Иван Сергеевич Тургенев, один из студентов Гоголя, потом справедливо заметил: «Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников; но только не с кафедры».

Осознать в полной мере свое предназначение помог Гоголю молодой московский критик Виссарион Белинский.

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособность, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя... Правдой было лишь то, что Белинского действительно исключили из университета за якобы малые способности, а на самом деле за драму «Дмитрий Калинин», в которой автор восставал против крепостнического рабства. Что же касается пьянства, то литератор Анненков, хорошо знавший молодого критика, сказал;

— Представить Белинского пьяницей так же правдоподобно, как Лессинга, пляшущего на канате.

Лессинг был великий немецкий писатель.

Выгнанный из университета, не имеющий никаких средств к существованию, Белинский жил скудным литературным заработком. На него обратил внимание друг Максимовича, профессор Московского университета Надеждин, издававший журнал «Телескоп», и взял его к себе. Он не прогадал. В 1834 году в приложении к «Телескопу» — газете «Молва» — появилась «Элегия в прозе» — «Литературные мечтания». Она печаталась из номера в номер. Сначала все думали, что автор ее Надеждин. Но под последней частью стояла подпись: «-он-инский». «Литературные мечтания» написал Белинский. С тех пор имя его было у всех на устах. «О русской повести и повестях г. Гоголя», статья В. Г. Белинского в журнале «Телескоп», 1835 г.

О том, какое впечатление произвела на думающую петербургскую молодежь первая большая статья Белинского, рассказывал Иван Иванович Панаев. В то время он, начинающий литератор, зашел как-то на Невском проспекте в кондитерскую Вольфа и Беранже, где можно было почитать все новые русские газеты и журналы. Ему попался последний номер «Молвы» со статьей «Литературные мечтания». Он стал читать и зачитался. «Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскакал в Москву, если бы это было можно, познакомиться с автором ее и прочесть поскорее ее продолжение. Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня. Не оно ли, — подумал я, — это новое слово, которого я

жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?»

О Гоголе в «Литературных мечтаниях» было сказано: «Г. Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому неизвестны его „Вечера на хуторе близ Диканьки“? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности! Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды!»

И вот, не успели выйти «Арабески» и «Миргород», как Белинский печатно пообещал дать о них подробный отчет. Обещание он выполнил.

В сентябре, вскоре после возвращения Гоголя из отпуска, в двух номерах «Телескопа» появилась большая статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя».

«Настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский... — рассказывает Анненков. — Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не столько яркими выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная как выйти из своего положения и на что опереться... Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем не ожидаемый и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с статьей в „Телескопе“ 1835-го года. И с какой статьей!»

Какими жалкими и ничтожными показались все нападки на Гоголя, все экивоки, претензии, советы, кисло-сладкие комплименты перед этим трубным гласом, возвестившим, что в России появился необыкновенный писатель.

«Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: „Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!“ Простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность, комическое воодушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния — вот, — говорил Белинский, — что отличает повести Гоголя. Источник всего этого — жизнь. Гоголь „поэт жизни действительной“, который ничего не приукрашивает, а показывает все, как оно есть. Он смеется. Но разве это смех ради смеха? У его смеха высокая цель — обличать уродства жизни, потому что Гоголь любит людей, и ему больно видеть, во что превращает их жизнь. Потому-то его смех всегда побеждается грустью... После „Горе от ума“, — писал Белинский, — я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностью и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. Гоголя. О, пред такою нравственностью я всегда готов падать на колена! В самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перерепенко, тот верно рассердится, если его назовут Иваном Ивановичем Перерепенком. Нравственность в сочинении должна состоять в совершенном отсутствии притязаний со стороны автора на нравственную или безнравственную цель. Факты говорят громче слов; верное изображение нравственного безобразия могущественней всех выходов против него». В. Г. Белинский.

Акварель К. Горбунова. 1838 г.

Белинский увидел у Гоголя не только сатиру, но и лиризм. «Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви, — сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту — сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии — это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!»

И Белинский делал вывод: Гоголь «в настоящее время является главою литературы, главою

ПОЭТОВ».

Это была награда за все. Анненков рассказывает, что Гоголь был доволен статьей, и более чем доволен, он был ошарашен статьей. Гоголь не нуждался в комплиментах, он нуждался в понимании. А Белинский понял его, раскрыл его читателям и окончательно укрепил его на избранном пути.

«ТОГДАШНИЙ ВОСТОРГ ОТ ГОГОЛЯ — НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМ»

Белинский во всеуслышание объявил, что новые произведения Гоголя «вполне заслуживают те похвалы, которыми осыпает их восхищенная ими публика». Для Гоголя мнение публики было превыше всего. Когда порой становилось невесело, он вспоминал Москву, ложу Большого театра, куда зашел в антракте повидаться с семейством Аксаковых, радостное удивление Сергея Тимофеевича, восторженный шепот Константина Аксакова приятелю: «Знаешь ли, кто у нас? Это Гоголь». А потом наведенные на ложу бинокли и трубки и голоса в креслах: «Гоголь, Гоголь». Сергей Тимофеевич рассказывал, как любит его, Гоголя, московская молодежь. Московские студенты первые распространили по городу славу о новом великом таланте.

Петербургская молодежь его тоже оценила. Толстый том альманаха «Новоселье», где впервые появилась «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», воспитанники Петербургского училища правоведения зачитали буквально до дыр. «Тогда не только в Петербурге, но даже во всей России было полное царство Булгарина, Греча и Сенковского, — рассказывал воспитанник училища правоведения Владимир Васильевич Стасов. — Но нас мало заинтересовали „Похождения квартального“ Булгарина и „Большой выход сатаны“ Сенковского... Ложный и тупой юмор Брамбеуса был нам только скучен, и мы только и читали, что „Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича“! Скоро потом купили два томика „Арабесок“. Тут „Невский проспект“, „Портрет“ нравились нам до бесконечности... Тогдашний восторг от Гоголя — ни с чем не сравним. Его повсюду читали, точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще неизвестный никому юмор — все это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительною бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление. Даже любимые гоголевские восклицания: „черт возьми“, „к черту“, „черт вас знает“ и множество других вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали. Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком».

Учителя в свободное от занятий время читали ученикам повести Гоголя. Молодые люди сходились, чтобы прочесть вместе новое творение Гоголя.

Однажды собрались у Панаева несколько человек слушать «Тараса Бульбу». Был среди них и немолодой уже учитель Первой петербургской гимназии Василий Иванович Кречетов. Его так поразила повесть Гоголя, что во время чтения он то и дело вскакивал, восклицая:

— Да это шедевр... это сила... это мощь... это... это...

— Ах, да не перебивайте, Василий Иванович! — кричали ему другие.

Но Кречетов не мог удержаться, вскакивал и перебивал чтение восторженными восклицаниями. А когда оно кончилось, сказал Панаеву:

— Это, батюшка, такое явление, это, это, это... сам старик Вальтер Скотт подписал бы охотно под этим «Бульбою» свое имя... У-у-у! Это уж талант из ряда вон... Какая полновесность, сочность в каждом слове... Этот Гоголь., да это черт знает что такое — так и брызжет умом и талантом.

«Новый мир открылся для меня, когда я прочел „Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича“», — рассказывал Панаев.

И не для него одного.

«НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЛО ДАРОМ»

Девятого мая, в день своих именин, Гоголь одевался по-летнему. Он повязывал яркий пестрый галстучек, облачался в короткий белый сюртучок с высокой талией и буфами на плечах, старательно взбивал свой завитой кок и в таком виде являлся гостям. Гости были — нежинские «однокрытники», кое-кто из молодых учителей, кое-кто из литераторов.

В этот день с утра в квартире Гоголя бывало шумнее обычного. Шум производила главным образом Матрена, неумоимо ругавшая медлительного Якима со всей горластостью звонкоголосой украинской жинки, привыкшей перекликаться через тын. Ей вторил звон кастрюль, грохот приносимых со двора поленьев, гуденье раскаленной плиты. Матрена орудовала на кухне, гоня Якима то туда, то сюда. Галушки, вареники и другие украинские блюда Гоголь стряпал сам, не доверяя Матрене.

Гости вваливались веселой гурьбой, потирали руки, нюхали воздух и торопили хозяина садиться за стол. Затем все усаживались, и пиршество начиналось. Шутки, смех, песни не смолкали допоздна.

Песни и куплеты были собственного изготовления. Сочинял их Гоголь с помощью Прокоповича и Данилевского, который после длительного отсутствия вернулся в Петербург. Пели хором на мотивы из модных опер.

Все бобрами завелись,

У Фаге все завились —

И пошли через Неву,

Как чрез мягку мураву.

Так пели про молодых учителей, ходивших через замерзшую Неву на Васильевский остров читать свои лекции.

Гоголь стал знаменитостью. Его приглашали в литературные салоны, на литературные вечера. Но лучше всего он по-прежнему чувствовал себя среди старых товарищей, приходивших к нему не только на именины, но и каждую неделю на «чайные вечера».

Гости располагались в маленькой спальне, где Гоголь, стоя у самовара, разливал чай, и в другой комнате, попросторней, с диваном у стены, большим столом, заваленным книгами, и

письменным бюро возле него.

Рассказывали о происшествиях в своих департаментах, приносили канцелярские анекдоты, обсуждали петербургские новости.

Новостей хватало. Компаньон Булгарина, Греч, рассердил государя. В «Северной пчеле» Греч по недосмотру напечатал содержание новой оперы «Роберт Дьявол», как оно было на французском языке. А опера шла с изменениями, которые велел внести царь. Греча предупредили — еще один такой случай, и его вышлют из столицы. Дворцовая набережная.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

Несколько профессоров Петербургского университета заявили на ученом совете, что их сотоварищи берут взятки с чиновников, сдающих экзамен на чин. Возвратились в Петербург из-за границы молодые профессора, совершенствовавшиеся там. Они отвыкли от России. Им все дико. Ходят мрачные — не могут смириться, что весь век предстоит провести в этом царстве рабства. Ворота бывшего дома Лепена на Малой Морской улице (улица Гоголя, 17).

Фотография. 1973 г.

По словам Анненкова, постоянного гостя Гоголя, «на этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием». Гоголь хоть и участвовал во всех спорах и разговорах, но больше слушал. «Никогда, однако ж, — рассказывает Анненков, — даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему наблюдательность... Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга, и случалось пользовался ими».

При выборе собеседников Гоголь предпочитал острословам, светским болтунам, умникам людей обыкновенных и даже неученых, но знающих в тонкости какое-нибудь дело — будь то конный завод, фабрика, ремесло или даже игра в бабки, если это можно назвать делом. Полученные от собеседников сведения он заносил в маленькие тетрадочки и хранил до случая. М. С. Щепкин.

Гравюра с акварели А. Добровольского. 1839 г.

Очень любил Гоголь слушать рассказы знаменитого актера — Михаила Семеновича Щепкина, прожившего интересную жизнь. Щепкин был украинцем, крепостным графа Волькенштейна, выкупленным из неволи по подписке. С Гоголем они познакомились в Москве и очень подружились. Приезжая в Петербург, Щепкин останавливался у Гоголя. Маленький, кругленький, уже в летах, Михаил Семенович не без труда взбирался по крутой темной лестнице дома на Малой Морской и уже снизу кричал:

— Нема лучше, как у нас, Якиме ступив — уж и в хати, а тут дерысь-дерысь!

Прочитав «Старосветских помещиков», Щепкин, лукаво улыбаясь, сказал Гоголю:

— А кошка-то моя.

Случай с появлением одичавшей кошки, которую Пульхерия Ивановна приняла за вестницу близкой смерти, действительно произошел с бабкой Щепкина, и Щепкин как-то рассказал об этом Гоголю.

Однажды Анненков застал у Гоголя пожилого человека, который подробно, со знанием дела рассказывал о поведении сумасшедших, об их нелепых идеях. Гоголь подсел и слушал. Когда стали расходиться и один из приятелей позвал пожилого господина, Гоголь сказал:

— Ты ступай... А они уже знают свой час и, когда надобно, уйдут.

Сведения, полученные от гостя, пригодились в «Записках сумасшедшего».

Пушкин рассказывал, что описание степи в «Тарасе Бульбе» внушил Гоголю он. Один знакомый Пушкина хорошо и подробно описывал ему степи. Пушкин свел его с Гоголем, дал послушать рассказ. И в «Тарасе Бульбе» появилось великолепное описание степи, с пестрым морем цветов и трав, птичьим гомоном, со степными пожарами, лебедями, похожими на красные платки, летящие в зареве по ночному темному небу.

Для Гоголя ничего не пропадало даром.

«КАКОВ ГОГЕЛЬ?»

В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та

мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы

крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого, точно, нет у других писателей». Пушкин.

Рисунок Гоголя. 1830-е годы.

Обнаружив у Гоголя это удивительное свойство, Пушкин побуждал его засесть за большое сочинение, где это свойство могло бы проявиться во всей полноте. «Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: „Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!“ Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принял за Донки-шота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет „Мертвых душ“». Гоголь.

Рисунок Пушкина. 1833 г.

Пушкин уже с первых шагов Гоголя разглядел в нем необычайный талант, радовался этому, гордился тем, что Россия, несмотря ни на что, не оскудевает талантами.

«Каков Гогель?» — писал он Вяземскому после выхода «Вечеров на хуторе». Гоголь интересовал его. И чем дальше, тем больше. Имя Гоголя замелькало в письмах Пушкина, в его дневнике. 1833 г. 3 декабря: «Вчера Гоголь читал мне сказку:

Как Ив. Ив. поссорился с

Ив. Тимоф .[3] — очень оригинально и очень смешно». 1834 г. 7 апреля: «Гогель по моему

совету начал Историю русской критики». 3 мая: «Гоголь читал у Дашкова свою комедию».

Бывая поблизости от Малой Морской, Пушкин заходил к Гоголю узнать, что тот пишет. Если не заставал его дома — досадовал, рылся в бумагах, искал, нет ли нового. «Они так любили барина, — рассказывал Яким. — Бывало, снег, дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения». Пушкин твердил Гоголю: «Пишите, пишите». Слушая его чтение, от души хохотал и уходил с Малой Морской довольный и в духе.

Но не все, что читал Гоголь, смешило Пушкина.

Однажды, придя к Гоголю и устроившись поудобнее в углу его дивана, Пушкин приготовился слушать первые главы «Мертвых душ». Сначала он улыбался. Но улыбка постепенно сошла с его лица, и чем дальше слушал, тем мрачнее становился, а когда чтение кончилось, он произнес голосом, исполненным тоски:

— Боже, как грустна наша Россия!

«К Пушкину, бывало, на неделю раза три-четыре с запиской хожу или с письмом», — вспоминал Яким. Сам Гоголь старался пореже захаживать к Пушкину. Большая шумная квартира, красавица Наталья Николаевна, ее незамужние сестры, жившие тут же, маленькие дети, куча прислуги... Гоголь предпочитал видеться с Пушкиным у себя. Его удивлял образ жизни Пушкина: «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Там он протранжирует всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащут его в деревню».

Гоголь не знал всех обстоятельств жизни Пушкина: Пушкин и рад был уехать в деревню, да его не пускали. Открытие Александровской колонны.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы. Пушкин на Невском проспекте.

Рисунок из альбома Челищева. 1830-е годы.

В августе 1834 года Гоголь писал Максимовичу: «Город весь застроен подмостками для лучшего усмотрения Александровской колонны, имеющей открыться 30 августа. Офицеры и солдатства страшное множество и прусских, и голландских, и австрийских». Открытие на Дворцовой площади памятника Александру I — огромной колонны, вытесанной из цельной гранитной глыбы, было обставлено с невероятной помпой — парадом войск, парадом кораблей на Неве, великолепной иллюминацией. Пушкин записал в своем дневнике: «Я был в отсутствии — выехал из П. Б. за пять дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с Камер-юнкерами — моими товарищами».

Царь хотел, чтобы Наталья Николаевна танцевала на придворных балах, и пожаловал Пушкину звание камер-юнкера. Это было оскорблением. Камер-юнкерство — самое низшее придворное звание — давали юнцам, а тут его получил тридцатипятилетний Пушкин. Он должен был напяливать свой придворный мундир и, удерживая ярость, таскаться за женой по балам.

Гоголь не знал всей меры зависимости Пушкина от царя, от шефа жандармов Бенкендорфа. Но то, что Пушкина душит цензура, что ему не разрешают печатать многого, что в журналах и в обществе кричат, будто талант Пушкина упал, будто Пушкин уже не тот, — это Гоголь знал. Знал, возмущался, принимал близко к сердцу. И первый в своих «Арабесках» сказал о Пушкине так, как никто не говорил: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он

далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер, отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

СТАТЬЯ БЕЗ ПОДПИСИ

В декабре 1835 года Пушкин просил у Бенкендорфа разрешение издать в следующем году четыре тома «чисто литературных статей» — повестей, стихотворений, критических разборов русской и иностранной словесности, ученых статей, наподобие английских обзоров. Слово «журнал» Пушкин не употребил. Боялся, что откажут. Власти куда охотнее запрещали уже имеющиеся журналы, чем разрешали новые.

— И так много, — говорил Николай.

Пушкину дали разрешение на чисто литературное периодическое издание — четыре тома в год. Так появился журнал «Современник». «Современник». 1836 г., т. 1.

Титульный лист.

Гоголь вспоминал о себе и о Пушкине: «Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещание действовать его убедили».

Первая книга «Современника» вышла весной 1836 года.

Уже несколько лет Пушкин и его друзья после смерти Дельвига не имели ни газеты, ни журнала.

Когда появилась «Библиотека для чтения», Гоголь сказал:

— Это другая «Пчела»! И вот литература наша без голоса.

Пушкину давно хотелось уничтожить монополию журналистов-торгашей, дать литературе голос. Еще в 1831 году хлопотал он разрешение на издание литературной и политической газеты «Дневник». Хлопотал долго, а когда разрешили, — охладел. Подумал: к чему ему газета? Печатать что хочешь — не разрешат. А тискать всякий вздор...

Сестра Пушкина Ольга Сергеевна писала мужу: «Мой бедный брат готов осквернить свой поэтический гений, и осквернить его единственно для того, чтобы удовлетворить насущным материальным потребностям; но судя по тому, что он мне рассказывал, описывая свое ненадежное положение, Александр иначе и поступить не может. Но куда ему, с его высокой, созерцательной, идеальной душой окунуться в самую обыденную прозу, возиться с будничным вздором, прочитывать всякий день полицейские известия, кто приехал, кто уехал, кто на улице невзначай разбил себе нос, кого потащили за уличные беспорядки в часть, сколько публики было в театрах, какая актриса или актер возбуждали восторг, болтать всякий день о дожде и солнце... Черт с ними! Гораздо лучше предоставить все эти пошлости Булгарину и Гречу». «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», статья Гоголя

в журнале «Современник», 1836 г., т. I.

В то время Гоголь думал похоже. Он писал в Москву старому поэту Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Виделся с Пушкиным. Газеты он не будет издавать, — и лучше! В нынешнее время принятая за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и для неизвестного человека; но гению этим заняться значит помрачить чистоту и непорочность души своей».

Прошло три года, и Пушкин опять стал подумывать о газете. На худой конец — о журнале. Издавать газету царь ему не разрешил. Тогда Пушкин и Плетнев затеяли издавать альманах. Гоголь дал для альманаха свою новую повесть «Коляска». «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его Коляску, — писал Пушкин Плетневу, — в ней альманах далеко может уехать; но мое мнение; даром Коляски не брать; а установить ей цену; Гоголю нужны деньги».

Альманах не состоялся. Вместо него появился «Современник».

К этому времени мнение Гоголя о ремесле журналиста изменилось. «Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли». А раз так — и гению не грех принятая за журнал.

Любители словесности, писатели, журналисты с интересом ждали появления «Современника». Сенковский откуда-то проведал, что в первой книге журнала есть критика на него, на «Библиотеку для чтения», и, не дожидаясь выхода «Современника», пустил в ход угрозы. «Берегись, неосторожный поэт!» — предупреждал он Пушкина на страницах своего журнала.

И вот первый том «Современника» появился в продаже, был доставлен подписчикам. О. И. Сенковский.

Литография.

В нем действительно оказалась статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Она шла без подписи. В статье этой порядком досталось многим. Но особенно барону Брамбеусу, Морозову, Тютюнджу Оглу, А. Белкину, г-ну Сенковскому — что суть одно и то же.

Сенковский был взбешен.

Еще бы! Так метко и решительно его никто не отделявал.

Все считали автором статьи в «Современнике» Пушкина. Сын Аксакова писал в Москву отцу: «Здесь появился новый журнал „Современник“, издаваемый Пушкиным, который я думаю много подорвет „Библиотеку для чтения“. Первый номер его очень хвалят. В нем есть повесть Гоголя, критика Пушкина на Сенковского».

Автором статьи «О движении журнальной литературы» был Гоголь. Но этого никто не знал, кроме нескольких ближайших сотрудников «Современника». А они это тщательно скрывали. Почему?

Для первого номера «Современника» Пушкин приготовил заметку о новом издании «Вечеров на хуторе». «Читатели наши, — писал он, — конечно помнят впечатление, произведенное над ними появлением „Вечеров на хуторе“: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и

неправдоподобие некоторых рассказов, предоставляя сии недостатки на поживу критике. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал „Арабески“, где находится его „Невский проспект“, самое полное из его произведений. Вслед за тем явился „Миргород“, где с жадностью все прочли и „Старосветских помещиков“, эту шутивную, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и „Тараса Бульбу“, коего начало достойно Вальтер Скотта. Г-н Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале». К заметке Пушкин сделал примечание: «На днях будет представлена на здешнем Театре его комедия

Ревизор».

В Петербурге уже знали, что в Александрийском театре репетируют комедию Гоголя — «Ревизор».

Пять пробных экземпляров «Современника» уже были отпечатаны и прошли цензуру, когда в «Библиотеке для чтения» появились угрозы Сенковского Пушкину. Пушкин обеспокоился. Не за себя, за Гоголя. В оглавлении «Современника» против статьи «О движении журнальной литературы» стояло имя Гоголя. Пушкин представил себе ход событий: «Современник» выйдет, Сенковский узнает, кто автор статьи, и из кожи вон выпрыгнет, чтобы провалить «Ревизора». Пушкин знал нрав публики: «Никто не станет покупать товара, охуженного в самом газетном объявлении». А уж Сенковский-то приналяжет, чтобы охудить «Ревизора». Угроза «Берегись, неосторожный поэт!» оборачивалась против Гоголя. И Пушкин решился на рискованный шаг: велел перепечатать оглавление журнала, убрать имя Гоголя, переверстать последние страницы и, не давая в цензуру (и так едва отбился), в таком измененном виде отпечатать весь тираж. Если бы кто дознался — беды не миновать. Но дело было сделано, имя Гоголя убрано.

В Ленинградской Публичной библиотеке сохранился один-единственный экземпляр первого тома «Современника», где в оглавлении против статьи «О движении журнальной литературы» стоит имя Гоголя.

«ДАЙТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СЮЖЕТ»

Мысль «Ревизора» принадлежит Пушкину, рассказывал Гоголь. Дело было так. В октябре 1835 года Гоголь писал уехавшему в псковскую деревню Пушкину: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами... Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее черта. Ради бога. Ум и желудок мои оба голодают».

Пушкин дал Гоголю сюжет — рассказал не один, а несколько анекдотов. Но все о том же — о мнимом ревизоре. Городничий

. Рисунок, подаренный Гоголю Пушкиным

Все знали страсть Николая I — рассылать тайных ревизоров по всей России, чтобы таким способом выявить злоупотребления. Пушкина самого приняли за тайного ревизора, когда он ездил на Урал собирать материалы для «Истории Пугачева». Ехал он туда через Нижний Новгород, где познакомился с тамошним губернатором. В Оренбурге Пушкин остановился у своего давнего знакомого оренбургского генерал-губернатора Перовского. Как-то они

засиделись допоздна. А на следующее утро Пушкина разбудил громовой хохот Перовского. Тот держал в руке письмо и, читая его, помирал со смеху. Письмо было от нижегородского губернатора. Он писал:

«У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте; должно быть ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее».

Пушкин рассказал Гоголю и о похождениях Свинына в Бессарабии, где тот выдавал себя за важную персону, присланную из Петербурга, и даже брал у колодников прошения. Злые языки говорили, что напуганные молдавские бояре поднесли Свиныну немалый куш да еще богатые шубы. У Пушкина в черновиках есть запись:

«Криспин приезжает в губернию на ярмонку — его принимают за... Губернатор честный дурак. — Губернаторша с ним кокетничает — Криспин сватается за дочь».

Рассказов о мнимых ревизорах ходило множество.

После недоконченного «Владимира 3-ей степени» Гоголь не переставал мечтать о комедии с правдой и злостью. Пускай не про Петербург, а про заштатный городишко, куда хоть три года скачи — не доскачешь. Лишь бы собрать в кучу все дурное на Руси и разом посмеяться над всем.

А Петербург там будет. Ведь все идет из Петербурга, из столицы империи. Каков поп, таков и приход. Тамошние взяточники — родные братья столичных. Полицейские держиморды с железными кулаками везде одинаковы. Тот же дух, те же порядки. И в воспоминаниях слуги Хлестакова Осипа будет Петербург: «Ну кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политическая: кеатры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает всё на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: „почтенный!“ На перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер [4] расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь... Старуха офицерша забредет, горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу!.. Наскучило идти — берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему, — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду». Будет там и про петербургскую литературу, про Сенковского, обиняком. Хлестаков хвастает: «Да, и в журналы помещаю. Моих впрочем много есть сочинений... Все это, что было под именем барона Брамбеуса... все это я написал... Как же, я им всем правлю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч». Будет и про Пушкина. Хлестаков врет: «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: „Ну что, брат Пушкин?“ — „Да так, брат“ отвечает, бывало, „так, как-то всё...“ Большой оригинал». Будет даже его, Гоголя, адрес. Приятель Хлестакова Тряпичкин живет в доме под номером девяносто седьмым, поворота на двор, в третьем этаже направо.

Будет и Хлестаков — помещичий сынок, отправленный в столицу послужить и ставший этакой столичной штучкой. Ведь именно здесь, в Петербурге, в затхлых департаментах, в мишурном блеске Невского проспекта, плодятся подобные ничтожества с легкостью в мыслях необыкновенной. И уж он-то, Хлестаков, порасскажет про Петербург...

Гоголь написал комедию «духом», меньше чем за два месяца. Восемнадцатого января 1836 года он читал ее в первый раз на вечере у Жуковского. Потом еще и еще. «Читает мастерски и возбуждает в аудитории непрерывные взрывы смеха», — рассказывал Вяземский.

Зная трусость цензуры, Гоголь понимал, что обычным путем «Ревизору» на сцену не попасть.

Помогли опять друзья — Жуковский, князь Вяземский, граф Виельгорский. О комедии было доложено царю. «Государь читал пиесу в рукописи», — сообщал в Москву Вяземский. «Если бы не высокое заступничество государя, — писал Гоголь Щепкину, — пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее».

«РАЗВЕ ЭТО КОМЕДИЯ?»

Что побудило доброжелателей Гоголя представить «Ревизора» царю и надеяться на успех? Они брали в расчет и характер Николая, и благоприятность момента.

Про Николая рассказывали, что однажды, когда царь гулял, бросился ему в ноги какой-то человек и просил правосудия. Богатый помещик взял у просителя займы восемь тысяч рублей — все его достояние — и не хочет отдавать. Управы не найти, а он, проситель, в крайности.

— Есть у тебя нужные документы? — осведомился царь.

— Есть, ваше величество, вексель.

Царь удостоверился, что вексель исправен.

— Ступай к маклеру и пусть перепишет вексель на имя Николая Павловича Романова.

Обрадованный проситель побежал к маклеру, но тот принял его за сумасшедшего и отправил к петербургскому генерал-губернатору. А у того уже имелось распоряжение царя выдать заимодавцу всю сумму с процентами. Что и было исполнено. Полученный вексель царь опротестовал, взыскал с должника что следует, да еще сделал ему внушение. А властям — строгий выговор, чтобы блюли интересы подданных, как самого государя.

История эта тотчас же разнеслась по всему Петербургу, на что Николай и рассчитывал. Время от времени он любил показать себя с лучшей стороны и старался поразить воображение подданных своей неутомимостью, простотой своей жизни (спал на солдатской койке под солдатским одеялом) и особенно тем, что он враг злоупотреблений.

А злоупотребления в России были чудовищные. Ничего не делалось без взятки. Дошло до того, что сам министр юстиции давал чиновникам взятки, когда у него были тяжбы. В отчете за 1835 год, представленном царю Третьим отделением, указывалось, что среди высшего общества, дворян, купцов возросло недовольство на произвол чиновников, судебных, полиции. Даже эти роптали. Крапивное семя зарвалось. Полезно дать ему острастку. И пусть это будет с соизволения царя.

Друзья поздравляли Гоголя — «Ревизор» разрешен! Гоголь понес пьесу в Александринский театр.

Новый каменный Александринский театр, возведенный архитектором Росси близ Невского проспекта, был торжественно открыт в августе 1832 года и с тех пор счастливо соперничал со старым Большим театром. Он привлекал публику своим местоположением, красотой отделки и удобствами. Места за креслами — партер — здесь были не стоячие, а сидячие.

Инспектор русской труппы, Храповицкий, некогда столь нелестно отозвавшийся о сценических дарованиях Гоголя, на сей раз был куда как любезен. Расписали роли: городничий — Сосницкий, Анна Андреевна — Сосницкая, Мария Антоновна — Асенкова, Хлестаков — Дюр, Осип — Афанасьев... Попросили Гоголя прочесть «Ревизора».

Собрались не в театре, а на квартире у Сосницкого, жившего на Крюковом канале против церкви Николая Морского. Умный, талантливый Сосницкий был в восторге от «Ревизора» и рассказывал товарищам, что пьеса Гоголя — чудо.

И вот чтение началось. Актеры слушали, и их лица вытягивались. «Что же это такое? — шептали они друг другу. — Разве это комедия? Читает-то он хорошо, но что же это за язык? Лакей так-таки и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлепкина — как есть простая баба, взятая с Сенной площади. Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается? Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?»

От Гоголя не ускользнуло недоумение слушателей. Он не удивился. Другого не ждал. И чему было удивляться, когда слушавшие его актеры привыкли к затверженным амплуа в водевилях, мелодрамах, надутых трагедиях, а тут сама жизнь...

Гоголь хорошо знал репертуар столичных театров.

Бесчисленные водевили, переделанные с французского и собственного изготовления, буквально заполонили петербургскую сцену. Гоголь сравнил их с бородатым русским купцом, привыкшим к тяжелым сапогам и вдруг вздумавшим натянуть на одну ногу узенький башмачок и ажурный чулок, а другую оставить в сапоге и в таком виде пуститься отплясывать французскую кадрили. «Русский водевиль»

. Карикатура.

Шел, например, в Александрийском театре водевиль под названием «Жених-лунатик»: отставной поручик, вдовец Заржавин хочет жениться на дочке помещицы Ласточкиной — Наденьке. В Наденьку влюблен уланский корнет Волин. Узнав, что Ласточкина смертельно боится лунатиков, он обманом заставляет ее принять Заржавина за лунатика. Ласточкина отказывает Заржавину и выдает дочь за ловкого корнета. В заключение водевиля горничная Лиза поет куплеты:

Чтоб рецензенту заключение

Об этой пьесе написать,

Наш автор собственное мнение

Желает публике подать.

Он сознается — и без спору

Все подтвердят слова его:

Сей водевиль собранье вздору,

И больше, право, ничего!

Другие водевили недалеко ушли от этого. «Секретарь в сундуке, или Ошибся в расчетах», «Прежде скончались, потом повенчались», «Дядюшка на трех ногах»... И так далее в таком же духе.

«Посмотрите, какое странное чудовище под видом мелодрамы забралось между нас! — писал Гоголь о мелодрамах. — Где же жизнь наша? где мы со всеми современными

страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама... Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Все дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах!.. Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия!.. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумавший искать нашего общества в наших мелодрамах».

Николай, шутя, спрашивал своего любимца трагика Василия Каратыгина:

— Сколько раз зарезал ты в нынешнем году и удушил жену свою на сцене?

Мелодрамы по количеству уступали только водевилям.

И еще на Александрийской сцене с успехом шли «патриотические драмы» — «рабские писания», как называл их Никитенко.

Здесь пальма первенства принадлежала Кукольнику. «Кукольник навалял дюжину дюженных трагедий», — писал Гоголь одному из товарищей. В 1834 году Возвышенный принес в репертуарную часть императорских театров свою новую драму в стихах «Рука всевышнего отечество спасла». Смутное время, Минин и Пожарский, восшествие на престол династии Романовых... Драма была длинная, нудная, безо всякого действия, с аршинными монологами. Начальник репертуара отказался ее взять, говоря, что она не выдержит больше одного представления. Тогда Кукольник обратился к Василию Каратыгину. Каратыгина соблазнил верноподданнический дух и роль князя Пожарского. Он взял «Руку всевышнего» для своего бенефиса. На спектакле присутствовал Николай. Не одобрил, что восшествие Романовых на престол происходит так убого, со сборными декорациями. Велел пьесу приостановить, изготовить новые декорации, новые костюмы и тогда уж играть. Отпустили сорок тысяч, и все было исполнено. Роскошные декорации, роскошные костюмы. «Рука всевышнего» гремела. Кукольник приглашен был в Зимний дворец. После он бегал по Петербургу и с умилением рассказывал, как принял его царь.

— Здравствуй, Кукольник, — сказал Николай. — Благодарю тебя за прекрасную пьесу и поздравляю с успехом. Предлагаю сделать некоторые изменения. Мое мнение отнюдь не обязательно, можешь его не принять. Я не литератор, но полагаю, что сочинение бы выиграло, если бы сделать то-то и то-то.

— Ваше императорское величество! — воскликнул Кукольник. — Вы так беспредельно осчастливили меня! Я много раз читал мою пьесу опытным литераторам, и, клянусь богом, никто не сделал мне таких верных замечаний, как ваше величество!

Кукольник прославился. Сенковский произвел его в Гете. В театре репетировали его новые драмы.

И как было актерам, привыкшим к бесцветности и бездумности водевилей, дешевым эффектам мелодрам, трескучести и выпренности «патриотических» драм, понять и оценить «Ревизора»...

«Положение русских актеров жалко, — сокрушался Гоголь. — Перед нами трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали... На чем развиться таланту? Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц...»

И он постарался восполнить пробел.

«РЕВИЗОР СЫГРАН»

Весна в 1836 году выдалась ранняя. Двадцать второго марта уже вскрылась Нева, которая обыкновенно освобождалась от льда лишь к середине апреля. Заработали перевозчики, гоня лодки с чиновниками, солдатами, старухами няньками, английскими конторщиками на Васильевский остров и обратно. Влетел в Неву первый пароход.

Столица преобразилась в лучах весеннего солнца. В окнах многочисленных магазинов вместо шерстяных чулок появились летние фуражки и хлыстики. Нева, Дворцовая пристань.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

Гоголя тянуло на улицу. «Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком Севере, она моя. Мне кажется никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с нею мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова воскресенья, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий черт с топором в руке». Балаганы на Адмиралтейской площади.

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы.

В праздничные дни на петербургских площадях устраивались гулянья: балаганы, качели, катальные горы, музыка... Балаганов настроили целый городок с пестрыми флагами, толпой размалеванных шукарей и паяцев, которые, стоя на балкончиках, зазывали публику, обещая чудеса: альбиноса с красными глазами и белыми волосами, ученого слона, девушку-великаншу, предсказывающую будущее, дрессированных канареек, собачий балет.

Гоголь с улыбкой слушал, как вернувшаяся с гулянья Матрена, крестясь от страха, рассказывала: при ее глазах разрезали человека на несколько частей, даже кровь лилась, а он вдруг ожил, вскочил как ни в чем не бывало, забегал, запаясничал. А из маленькой девочки вдруг сделалась огромная кухня с посудой и горшками.

— Чего только не придумают, господи прости... Ажно страх берет.

В другое бы время Гоголь непременно потолкался среди народа, посмотрел чудеса, послушал разговоры. Теперь выбирал он места поудобнее, где можно без помех предаваться размышлениям. Думал об одном — о «Ревизоре». Репетиции комедии шли полным ходом, а на душе было смутно. Целые дни пропадал он в театре, смотрел, слушал, объяснял, советовал. Входил во все мелочи. А что толку? Не хотят, не могут. Один Сосницкий хорош. Внушал Дюрю:

— Боже сохрани играть Хлестакова с обыкновенными фарсами, как играют водевильных повес и шалунов. Хлестаков просто глуп. Болтает потому только, что видит, что его расположены слушать. Врет потому, что плотно позавтракал и выпил порядочно вина. Говорит и действует безо всякого соображения. Он не в состоянии остановить внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из его уст совершенно неожиданно. Главное, играя его, показать как можно больше простоты и чистосердечия. Александринский театр.

Литография И. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е годы

Гоголь умолял театральную дирекцию дать хоть одну репетицию в костюмах. Отказали. Не положено. «Мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае, и что актеры уж знают свое дело. Заметивши, что цены словам моим давали немного, я оставил их в покое».

А в «Санкт-Петербургских ведомостях» уже было объявлено, что в воскресенье 19 апреля «На Александрийском театре, в первый раз,

Ревизор, оригинальная комедия в пяти действиях».

Всю последнюю репетицию накануне спектакля Гоголь простоял за кулисами, глядя на сцену. На нем был зеленый фрак с мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые панталоны, на носу зачем-то золотые очки, в руках новый цилиндр. И весь этот парад, этот щегольской костюм так странно не вязался с застывшим лицом, полным скрытой муки.

Билеты на спектакль расхватили заранее. Друг Пушкина Соболевский просил достать ложу для семейства покойного историка Карамзина. Гоголь послал ему записку: «Вашего поручения вполне исполнить я не мог, потому что вы изволили дать знать мне очень поздно. Мне очень жаль, что для Карамзиных не достало ложи. Что же касается до кресел, то я могу достать около пяти и оставляю их для тех, которым вы прочтете их.

Ваш преданный Н. Гоголь.

Впрочем, скажите Карамзиным, что если им угодно на второе представление, на котором будет и царская фамилия, то я приготовлю билеты».

И вот наступил день девятнадцатого апреля. Спектакли в Александрийском театре начинались в семь часов вечера, но зрители попроще приходили заранее, чтобы получше устроиться на верхотуре в райке. Посетители лож и кресел съезжались к началу спектакля.

«Петербург — большой охотник до театра», — говорил Гоголь. Гуляя по Невскому в утренние часы, заглядывая в сени Александрийского театра, он не раз наблюдал, как большая толпа осаждает грудь раздавателя билетов, высовывающего руку из окошечка. Лакеи, присланные господами, чиновники, офицеры, сидельцы из Гостиного двора...

«Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек, и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». У кассы Александрийского театра.

Литография Р. Жуковского. 1840-е годы.

Так думал Гоголь о театре и потому так заботился о постановке «Ревизора».

К семи часам вечера Александринский театр сверкал и гудел. В ложах и креслах, обитых красным бархатом, — блистательная публика. Много литераторов. Даже давно не бывавший в театре Иван Андреевич Крылов, монументально возвышаясь, заполнял собой кресло. В последнюю минуту в царскую ложу, сопровождаемый свитой, вошел Николай.

Занавес взвился. Представление началось...

«„Ревизор“ сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно. Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков... С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я

слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушили все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила по причинам, однако ж не относящимся к искусству... Во время представления я увидел ясно, что начало четвертого акта бледно и носит признак какой-то усталости. Возвратившись домой, я тотчас же принялся за переделку. Теперь, кажется, вышло немного сильнее, по крайней мере, естественнее и более идет к делу. Но у меня нет сил хлопотать о включении этого отрывка в пьесу. Я устал; и как вспомню, что для этого нужно ездить, просить и кланяться, то бог с ним, — пусть лучше при втором издании или возобновлении „Ревизора“. У меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми! Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь, бог знает куда». «Ревизор». Сцена первой постановки в Александрийском театре

. Гравюра по рисунку актера В. Самойлова.

Сказалось напряжение последних месяцев. И, как уже случалось не раз, подъем сменился спадом. В такие минуты никогда не покидавшая его неудовлетворенность, стремление к совершенству давили тяжким грузом. Хотелось, чтобы не жгли мозг раскаленные слова, сцены, реплики. Чтобы отступили хоть на время, пощадили, отошли. Хотелось покоя, отдыха.

А судьба уже готовила ему новое испытание, тем более тяжкое, что он его не ждал.

«ВСЕ ПРОТИВ МЕНЯ»

В Петербурге только и разговоров было, что о «Ревизоре». В светских гостиных, в департаментах, в книжных лавках, на гуляньях, в письмах и дневниках — повсюду «Ревизор»...

После первого спектакля Храповицкий записал в свой дневник: «19 апреля. — В первый раз „Ревизор“. Оригинальная комедия в пяти действиях. Сочинение Н. Гоголя... Государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество. Актеры все, особенно Сосницкий, играли превосходно. Вызваны: автор, Сосницкий и Дюр».

Никитенко, побывавший на третьем представлении «Ревизора», сделал в дневнике такую запись: «Комедия Гоголя „Ревизор“ наделала много шума. Ее беспрестанно дают — почти через день... Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, производимое его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые накапливаются в умах от существующего у нас порядка вещей». Разъезд из Александрийского театра.

Литография Р. Жуковского. 1840-е годы.

Петербургское общество раскололось на два неравных лагеря. В одном, меньшем, была главным образом молодежь. Она горой стояла за «Ревизора» и его автора. Стасов рассказывал о себе и своих товарищах по училищу правоведения: «Некоторые из нас видели... „Ревизора“ на сцене. Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь. Мы наизусть повторяли потом друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие

прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи, уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это все его собственные выдумки... Схватки выходили жаркие, продолжительные, до пота на лице и на ладонях, до сверкающих глаз и глухо начинающейся ненависти».

Восторженный голос молодежи тонул в злобном хоре хулителей. Их было большинство.

Гоголь писал в Москву Щепкину, звавшему его ставить «Ревизора» на московской сцене: «Делайте, что хотите, с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней... Действие произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов... Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне более и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит, между тем, братскую любовь».

А страсти все разгорались.

Восьмого мая Вяземский советовал в письме Александру Ивановичу Тургеневу: «Прочти „Ревизора“ и заключи, сколько толков раздаются о нем. Все стараются быть более монархистами, чем царь, и все гnevаются, что позволили играть эту пьесу, которая, впрочем, имела блистательный и полный успех на сцене, хотя не успех общего одобрения. Неимоверно, что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду общества! „Как будто есть такой город в России“. „Как не представить хоть одного честного, порядочного человека? Будто их нет в России“».

Тридцать первого мая приятель многих литераторов, директор департамента Вигель, наслушавшись толков о комедии Гоголя, изливал свой гнев в письме Загоскину: «То ли дело „Ревизор“ Гоголя; читали ли вы сию комедию? видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находились... Сколько накопил он плутней, подлости, невежества. Я, который жил и служил в провинциях, смело называю это клеветой в пяти действиях. А наша чернь-то хохочет... Я знаю г. автора — это юная Россия, во всей ее наготе и цинизме».

Надо же было с таким бесстыдством отрицать очевидное, встречающееся на каждом шагу, всем ведомое, против чего даже царь не стал возражать. А Гоголь — чистая душа — верил, таил надежду, что чиновные мужи, поставленные управлять государством, уж они-то в первую очередь, посмотрев «Ревизора», спохватятся, озаботятся, незамедлительно примут надлежащие меры. Ан, не тут-то было... «Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. „Он зажигатель! Он бунтовщик!“ И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде... Рассмотрю положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его?» — вопрошал Гоголь Погодина.

По ночам его мучили кошмары. Гнусные свиные рыла окружали плотным кольцом, теснили в угол, хрипели с подвизгом: «Поджигатель... Ничего святого... Глупая фарса... Нет такого города...» Маленькие злые свинячьи глазки горели красным огнем...

Решение уехать за границу пришло внезапно, как после неудачи с «Ганцем Кюхельгартемом». И, как только решил, — взбодрился несколько, приказал себе выкинуть из головы «Ревизора», думать только об отъезде.

Погодин и Щепкин звали его в Москву. Пушкин писал из Москвы жене: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть Ревизора. Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и

грязна (к чему Москва всегда имела поползновение). С моей стороны я то же ему советую: не надобно, чтобы Ревизор упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге».

Но Гоголь уже принял решение и не стал его менять. В Москву он не поедет. Пусть делают с «Ревизором» что вздумается. Да что он в конце концов — каторжник, прикованный к галере?!

Он и от друзей скрывал всю горечь обиды, всю силу потрясения. Говорил, что едет за границу отдохнуть, поразвлечься, поправить свое здоровье и в тишине, уединении обдумать хорошенько будущие труды. Только через год, в письме к Погодину, у него вырвется признание:

«О, когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство... Сердце мое содрогается при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что я бы не хотел решиться. Или ты думаешь, мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли?»

Его заставили уехать. Он вынужден был уехать. Не мог больше. Задыхался.

После раздачи неотложных долгов из денег, полученных за «Ревизора», второе издание «Вечеров», статьи и повести в «Современнике», у Гоголя осталось две тысячи рублей, с которыми надеялся продержаться до октября. А там Смирдин обещал еще тысячу. Дальше. Слишком далеко предпочитал он не заглядывать. А. С. Данилевский.

Фотография. Середина XIX в.

Ехать договорился вместе с Данилевским. Якима и Матрену отправил в Васильевку. Свою библиотеку перевез к Прокоповичу. Распрощался с сестрами, наказав им не скучать.

Шестого июня Гоголь сел на пароход и поплыл в Гамбург. Лето располагал провести на водах в Баден-Бадене, август на Рейне, осень в Швейцарии, зиму в Риме или в Неаполе.

Провожал его Вяземский. Снабдил рекомендательными письмами, обнял, расцеловал.

В чемодане путешественника лежали начатые «Мертвые души».

Марта двадцать пятого числа случилось в Петербурге необыкновенное происшествие — цирюльник Иван Яковлевич, получив от своей супруги свежее выпеченный хлеб, обнаружил в нем... нос.

В то же самое утро майор Ковалев, проснувшись в своей квартире на Садовой улице, приказал подать небольшое зеркало, чтобы рассмотреть вскочивший на лбу прыщик, и увидел, что у него... исчез нос.

Как и следовало ожидать, обстоятельство это весьма обеспокоило майора Ковалева, ибо человеку его звания иметь между щек гладкое место было до крайности неприлично по

целому ряду наиважнейших причин.

Нос... Да разве можно без носа?! И кому? — Майору Ковалеву!

Нимало не мешкая, злополучный майор принял все меры для разыскания досадной пропажи. Обратился и в полицию. И вездесущая полиция, в лице квартального надзирателя благородной наружности, сумела-таки перехватить и вернуть Ковалеву задержанного беглеца. Для водворения на место.

Уезжая из Петербурга, Гоголь оставил Пушкину рукопись своей повести «Нос». Пушкин напечатал ее в третьей книжке «Современника». Повесть кончалась так: «Вот такая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного... А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей? — а все однако же, как поразмыслишь, во всем этом право, есть что-то... Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают».

Июля одиннадцатого числа, через три месяца после того, как в Александрийском театре впервые была показана комедия Гоголя, случилось в Петербурге еще одно необыкновенное происшествие. Публика, пришедшая в Александринский театр на очередное представление «Ревизора», не без изумления обнаружила, что помимо комедии Гоголя будет показано еще продолжение ее (так именовалось оно в афише) — «Настоящий ревизор».

В «Настоящем ревизоре» действовали те же лица, что и просто в «Ревизоре». Но появилось новое — недавно приехавший скромный молодой чиновник по фамилии Проводов. Он-то, как выяснялось в конце, и оказался настоящим ревизором, присланным в сей город от высшего начальства для пресечения злоупотреблений. Настоящий ревизор раскрывает все плутни чиновников во главе с городничим, всем воздает по заслугам и даже предлагает руку и сердце обманутой Хлестаковым Марии Антоновне. Порок наказан, добродетель торжествует.

«Настоящий ревизор» шел без фамилии автора. Но публика сразу смекнула, что к Гоголю эта бездарная поделка не имеет отношения. «Настоящий ревизор». Афиша первого представления в Александрийском театре с пометкой А. И. Храповицкого.

И она не ошиблась, Гоголь здесь был ни при чем. Высокопоставленные майоры Ковалевы испугались за свою репутацию и заказали некоему князю Цицианову срочно сочинить «Настоящего ревизора», чтобы ослабить действие комедии Гоголя. Они пытались принять меры и водворить на место сбежавший нос...

Гоголь в это время был уже далеко от Петербурга.

«НЕУЖЕЛИ Я ЕДУ В РОССИЮ?»

Тридцатого октября 1839 года, минуя Московскую заставу — полосатую будку и инвалида на деревяшке, поднимающего шлагбаум, — въехал в Петербург небольшой дилижанс и покатил по направлению к Владимирской улице. Не доезжая до Владимирской, дилижанс остановился, и из него выпрыгнул молодой человек с дорожным мешком в руке. Он распрощался с другими пассажирами и скрылся в темноте осеннего вечера. Это был Гоголь, который ненадолго вернулся в Россию, куда его призывали семейные дела. Анна и Лиза кончили Патриотический институт. Предстояло взять их оттуда и позаботиться об устройстве их дальнейшей судьбы. Вокзал дилижансов в Петербурге.

Литография. Гоголь

. Рисунок К. Мазера. 1840 г.

Гоголь сначала побывал в Москве, а затем вместе с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, его дочерью и сыном поехал в Петербург.

На первых порах остановился он у Плетнева на Обуховском проспекте, но вскоре переселился к Жуковскому в Зимний дворец. Плетнев был семейный, а Жуковский холост, и его обширные апартаменты позволяли без ущерба для хозяина принимать гостей.

Встретились невесело. Вспомнили Пушкина. «Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург и Пушкина нет». Он думал об этом всю долгую дорогу.

Гоголь узнал о смерти Пушкина будучи в Париже. Андрей Карамзин писал из Парижа матери: «У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него».

Пушкина не стало... «Моя утрата больше всех... Я... Я сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первую наградою. Теперь этой награды нет впереди! что труд мой? Что теперь жизнь моя?»

Гоголь писал «Мертвые души». После смерти Пушкина долго не мог оправиться и взяться за перо. Вообще писалось медленно. Слишком большое значение придавал он своему труду, чтобы торопиться. «Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голода. Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание».

Умереть с голоду имел полную возможность — ни доходов, ни заработка. Размениваться на мелочи не считал себя вправе. Здоровье его плохо, труд велик. У него мало времени. И он просит Жуковского выхлопотать ему небольшой «пенсион». Хоть такой, как дают живущим в Италии воспитанникам Академии художеств или как дьячкам русской церкви в Риме. А пока денег нет. И он пишет Прокоповичу: «Если у тебя не случится теперь 1500 рублей... то продай мою библиотеку... Она мне стала до 3000, но если можно за нее выручить половину, то слава богу». В России уже ходили слухи, что Гоголь за долги посажен в римскую тюрьму. До этого не дошло. Выручили друзья.

И теперь, в Петербурге, снова та же мука — деньги. Жуковский обнадеживал, что при выходе из института Анна и Лиза получают некоторую сумму от щедрот государыни. Но царица заболела. А сестер надо одеть с ног до головы, заплатить за их уроки (музыка и прочее), отвезти в Москву, куда он вызвал маменьку. Гоголь читает «Мертвые души».

Рисунок Э. Дмитриева-Мимонова. 1839 г.

Видя безвыходное положение Гоголя, Аксаков предложил ему две тысячи займы.

И вот вместе с Аксаковым и его дочерью Верой Гоголь отправился в институт за сестрами. По

дороге предупреждал: Анна и Лиза дикарки — результат хваленого институтского воспитания. Девушки и впрямь оказались дикарками. Они всего боялись, путались в своих новых длинных платьях, спотыкались, падали и конфузились до слез. Их на время поместили в один знакомый дом.

К огорчению Гоголя, отъезд в Москву откладывался из-за дел Аксаковых. Ехать же одному с сестрами Гоголь не решался. Приходилось ждать и терять даром время.

Больше трех лет он не видел Петербурга. Этот город вызывал противоречивые чувства. Вспоминалось хорошее — друзья, труд, сходки, поездки к Прокоповичу в Свечной переулок. «Признаюсь, часто, когда вспоминаю Ваньку, тащащего меня на тряских дрожжах в Свечной переулок, то очень бы хотелось мне в Петербург». «И для меня теперь Петербург остается чем-то таким приятным». И совсем другое: «Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники начиная от титулярного до действительных тайных?.. Ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный».

У Прокоповича он побывал. Прокопович, женатый, семейный, жил уже не в Свечном переулке, а в Девятой линии Васильевского острова, поближе к Первому кадетскому корпусу, где служил учителем.

У Прокоповича среди друзей читал Гоголь «Мертвые души».

Приехал откуда-то со званого обеда в голубом фраке с золотыми пуговицами. А вообще его вкусы в одежде переменились. Фраков почти не носил, предпочитал им более спокойные и скромные сюртуки. И внешне стал лучше. Его очень красили усы, эспаньолка и длинные волосы, которые отрастил, живя за границей. От прежнего франта со взбитым коком не осталось и следа.

Гоголь был весел — смеялся, шутил. А про чтение — молчал. Все же ждали чтения. Тогда Прокопович, знавший причуды Гоголя, подошел к нему сзади, ощупал карманы фрака, вытащил мелко-намелко исписанную маленькую тетрадку и спросил по-украински:

— А що це таке у вас, пане?

Гоголь вдруг нахмурился, лицо помрачнело. Он выхватил тетрадку, сел на диван и сразу стал читать.

Это были первые четыре главы «Мертвых душ». Непритворный восторг друзей его успокоил и тронул.

Виделся он в Петербурге с переехавшим в столицу Белинским.

Белинский писал в Москву своему другу Боткину: «Гоголя видел два раза, во второй обедал с ним у Одоевского. Хандрит, да есть отчего, и все с иронической улыбкой спрашивает меня, как мне понравился Петербург». Невский проспект. Зимний вечер.

Литография И. Шарлеманя. 1840-е годы.

Белинский только-только перебрался в столицу. Из Москвы его выгнала нужда. В журнале «Телескоп», где он сотрудничал, напечатано было «Философическое письмо» Чаадаева. Это вызвало бурю. «Телескоп» запретили, Чаадаева власти объявили сумасшедшим и приставили к нему лекарей, а издателя журнала, профессора Надеждина, отправили прохладиться в Вологодскую губернию. Белинский остался без постоянного заработка. Тем временем в Петербурге некто Краевский арендовал у Свинына «Отечественные записки», а

когда стало ясно, что без сильного критика журналу не обойтись, чуя дух времени, пригласил Белинского.

Гоголь встретился с Белинским у князя Одоевского. Талантливый литератор, превосходный знаток музыки, добряк и оригинал, Одоевский внушал Гоголю давнишнюю симпатию. Они были на «ты». Как-то вместе с Пушкиным, втроем, собирались издавать альманах «Тройчатка». Гоголь и раньше бывал у Одоевского во флигеле дома на углу Мошкова переулка и Большой Миллионной. Здесь по субботам собиралось разнообразное общество: литераторы, музыканты, ученые, заезжие знаменитости, важные сановники и обыкновенные смертные. И всех принимали одинаково радушно. В. Ф. Одоевский

. Акварель А. Петровской. 1838 г.

Для Владимира Федоровича Одоевского, как и для многих других, не прошли бесследно трагические события 14 декабря. Пострадали его лучшие друзья — двоюродный брат Александр Одоевский, Вильгельм Кюхельбекер. Не сбылись надежды юности. Одоевский служил, а для души сочинял, ставил научные опыты, помогал неимущим, создавал свой особенный мир и в литературе и в жизни. Одевался он дома как средневековый алхимик — черный шелковый остроконечный колпак на голове, такой же черный до пят сюртук. А в кабинете какие-то столы с этажерками, таинственными ящичками и углублениями, книги в старинных пергаментных переплетах на полках, на столах, на диванах, на полу. И еще всевозможные черепа, химические склянки и реторты.

Увидеть Гоголя у Одоевского было для Белинского большой радостью.

«Поклонись от меня Гоголю, — писал он вскоре Константину Аксакову, — и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадой и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества».

Пребывание в Петербурге затягивалось. Морозы стояли лютые. Гоголь страдал от бездействия и холода. «Я не понимаю, что со мною делается. Как пошла моя жизнь в Петербурге! Ни о чем не могу думать, ничто не идет в голову. Как вспомню, что я здесь убил месяц уже времени — ужасно... Ах, тоска! Я уже успел один раз заболеть: простудил горло и зубы, и щеки. Теперь, слава богу, все прошло. Как здесь холодно. И приветы, и пожатия, часто, может быть, искренние, но мне отовсюду несет морозом... О боже, боже! когда я выеду из этого Петербурга? Аксаков меня уверяет, как наверное, что 7 декабря будет этот благодатный день».

Они выехали в Москву только семнадцатого декабря. Перед отъездом Гоголь одолжил у Жуковского четыре тысячи рублей.

В середине мая он отправился в Италию, обещая вернуться через год и привезти готовый для печати первый том «Мертвых душ».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «МЕРТВЫХ ДУШ»

Гоголь слово сдержал. Он вернулся в Россию через год и привез, как обещал, первый том «Мертвых душ», готовый для печати.

Пять дней провел в Петербурге, а затем уехал в Москву, где собирался печатать свою поэму.

То, что произошло с «Мертвыми душами» в Московском цензурном комитете, назвал он комедией.

Услышав название книги, председатель комитета возопил страшным голосом:

— «Мертвые души»! Не позволю! Душа — бессмертна. Автор посягает на бессмертие души.

Ему разъяснили, что речь идет о ревизских душах.

— Ах, о ревизских! Тем более. Против крепостного права. Не пропущу!

— Предприятие Чичикова — уголовное преступление, — вторил хор голосов.

— Но ведь автор не оправдывает своего героя, — попытался возразить кто-то робко.

— Не оправдывает, а вывел. И другие, глядя на Чичикова, примутся скупать мертвые души.

Цензоры помоложе, побывавшие за границей, приводили свои доводы:

— Что ни говори, а цена, которую Чичиков дает за душу, возмутительна. Пусть это мертвая душа, но все же человеческая. И за нее-то два с полтиной. Да после этого ни один иностранец не захочет к нам приехать. Гоголь.

Портрет работы Ф. Моллера. 1841 г.

Московская цензура «Мертвые души» запретила. Комедия оборачивалась для Гоголя трагедией. Столько лет самоотверженного, подвижнического труда, годы изгнания, одиночества, бездомности, полунищенского существования — и вот результат. Собираясь в Россию, он писал из Рима Жуковскому: «Я не скажу, что я здоров. Нет, здоровье может быть еще хуже, но более нежели здоров. Я слышу часто чудные минуты, чудной жизнью живу, внутренней огромной, заключенной во мне самом, и никакого блага и здоровья не взял бы. — Вся жизнь моя отныне — один благодарный гимн. — Не пеняйте, что я до сих пор не уплачиваю вам взятых у вас денег. Все будет заплочено, может быть, нынешней же зимою. Наконец не с потупленными очами я предстану к вам, а теперь я вижу и дивлюсь сам, как живу во всех отношениях ничем, и не забочусь о жизни и не стыжусь быть нищим».

Все свои надежды связывал он с «Мертвыми душами». А их запретили. В тревоге и смятении он ищет выхода. Выход один — отправить поэму в Петербург и с помощью друзей попытаться получить там цензурное разрешение. Надо бы ехать самому, да он болен. Вручил рукопись случайно оказавшемуся в Москве Белинскому, просил передать Одоевскому. Писал ему: «Белинский сейчас едет. Времени нет мне перевести дух, я очень болен. И в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена... У меня вырывают мое последнее имущество... Какая тоска, какая досада, что я не могу быть лично в Петербурге! Но я слишком болен. Я не вынесу дороги. Употребите все силы!» «Мертвые души», том первый.

Титульный лист. 1842 г.

Написал и Плетневу, и Уварову — чтобы в случае надобности Плетнев передал. «Я не предпринимаю дерзости просить воспомоществования и милости, я прошу правосудия, я своего прошу: у меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба. Почему знать, может быть, несмотря на мой трудный и тернистый жизненный путь, суждено бедному имени моему достигнуть потомства».

Судьба «Мертвых душ» решалась в Петербурге, и все помыслы Гоголя устремились туда.

А там, получив рукопись от Белинского, Одоевский, Плетнев и граф Виельгорский ломали себе голову, с какого конца начать. Решили спросить совета у Никитенко. Он цензор. Ему и

карты в руки. А. В. Никитенко.

Литография.

Никитенко прочел поэму дважды. Начал и зачитался, промахнул все разом. Потом читал медленно, по-цензорски, с соображениями и раздумьями. И, ко всеобщему изумлению, объявил, что может пропустить рукопись в печать. «Я уверен, — рассказывал Аксаков, — что Никитенко не смел пропустить ее сам и что она была показана какому-нибудь высшему цензору, если не государю. Мы не верили глазам своим». «Капитан Копейкин».

Рисунок А. Агина. Гравюра Е. Бернадского. 1846 г.

И было чему дивиться. Цензура свирепствовала. Даже любимому Кукольникову и тому намылили голову за один рассказ. Доставалось и другим. А «Мертвые души» пропустили. У Николая так случилось: ярился из-за пустяков, глядел поверху, а огромное, значительное, подрывающее самое основание Российской империи не мог распознать, пропускал между пальцев.

Единственно, что не посмел разрешить Никитенко в «Мертвых душах», была «Повесть о капитане Копейкине». В ней задет был Петербург, значительные лица. Рассказывалось в повести, что, сражаясь за отечество в 1812 году, лишился капитан Копейкин правой руки и ноги. Работать не мог и, не зная, чем кормиться, отправился в Петербург просить пенсию. Посоветовали ему обратиться к генералу, вельможе, начальнику какой-то «высшей комиссии». Вельможа жил на Дворцовой набережной в собственном доме. Дотащился туда Копейкин на своей деревяшке. Смотрит — роскошь такая, что уму помрачение. Швейцар с золоченой булавой, с графской физиономией, жирный, как откормленный мопс. Вошел Копейкин в дом, забился в приемной в уголок и ждет. Четыре часа ждал. А народу в приемную набилось столько, как бобов в тарелке. Все генералы, полковники. Наконец вышел он — вельможа, государственный человек. Просители к нему. Дошла очередь до Копейкина. Изложил свое дело. Генерал говорит: «Понаведаетесь на днях». Копейкин понаведался. А ему такое: «Ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя, тогда без сомнения будут сделаны распоряжения насчет раненых». И — прощайте. А у Копейкина денег — всего ничего. Не может он ждать. Хотел еще раз объяснить с генералом, а к тому не пускают: «Нельзя, не принимает, приходите завтра». Копейкину есть нечего. Голодает, бедняга. Кругом в ресторанах котлетки с трюфелями, в лавках — семга, вишенки по пять рублей штука, арбуз — громадище. А ему, Копейкину, одно блюдо: «Завтра». Не стерпел, прорвался к его высокопревосходительству. А генерал: «Ищите сами средств». И поскольку Копейкин, впад в отчаяние, повел себя настойчиво, грубо, кликнули фельдъегеря трехаршинного роста, схватил он капитана, поволок в тележку и помчался из Петербурга к месту жительства. А Копейкин решил: «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, — хорошо, я найду средства!» Не прошло двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман ее был не кто другой, как капитан Копейкин. Так кончалась «Повесть о капитане Копейкине».

«Выбросили у меня целый эпизод Копейкина, для меня очень нужный, более даже, нежели думают они, — писал Гоголь Прокоповичу. — Я решился не отдавать его никак. Переделал его теперь так, что уж никакая цензура не может придраться. Генералов и все выбросил и посылаю его к Плетневу для передачи цензору». Через несколько дней Плетнев писал Никитенко: «Посылаю письмо Гоголя к вам и переделанного „Копейкина“. Ради бога, помогите ему, сколько возможно. Он теперь болен, и я уверен, что если не напечатает „Мертвых душ“, то и сам умрет».

Переделанного «Копейкина» цензура разрешила.

Двадцать третьего мая 1842 года Гоголь выехал из Москвы в Петербург. Он вез с собой

только что отпечатанные экземпляры «Мертвых душ». Двадцать шестого мая он был уже в столице.

«НИ ОДНОЙ СТРОКИ НЕ МОГ ПОСВЯТИТЬ Я ЧУЖДОМУ»

Гоголь не собирался долго задерживаться в Петербурге. Он решил снова ехать за границу, чтобы продолжать работу над вторым томом «Мертвых душ».

В Петербург он заехал по делам. Остановился у Прокоповича на Васильевском острове. Повидался с Плетневым, Жуковским, Одоевским. На вечерах у Вяземского и у Александры Осиповны Россет, в замужестве Смирновой, читал «Женитьбу» и из «Мертвых душ». Ездил с художником Брюлловым в Царское Село по железной дороге. Было любопытно увидеть эту первую в России железную дорогу, проложенную от Петербурга до Царского Села и Павловска.

Из Москвы Гоголь писал Прокоповичу относительно «Мертвых душ»: «О книге можно объявить. Постарайся об этом. Попроси Белинского, чтобы сказал что-нибудь о ней в немногих словах, как может сказать не читавший ее».

Белинский не замедлил исполнить просьбу Гоголя и напечатал в журнале «Отечественные записки» такую заметку: «Давно и с нетерпением ожидаемый всеми любителями изящного роман Гоголя „Похождения Чичикова, или Мертвые души“ наконец вышел в Москве и только что сейчас получен в Петербурге. Мы не успели еще прочесть его, спеша окончить эту книжку журнала. Но имевшие случай читать этот роман, или, как Гоголь назвал его, эту

поэму, в рукописи или слышать из нее отрывки, говорят, что в сравнении с этим творением все, доселе написанное Гоголем, кажется бледно и слабо: до такой высоты достиг вполне созревший и развившийся талант нашего единственного поэта-юмориста! Вскоре мы отдадим нашим читателям подробный отчет о „Мертвых душах“, в отделе Критики».

И вот теперь в Петербурге Гоголь просил Прокоповича устроить ему встречу с Белинским. Но тихо, без шума. Боялся неудовольствия московских приятелей — Погодина, Шевырева и прочих, которые с некоторых пор возненавидели Белинского за его образ мыслей, обвиняли его в том, что он не любит Россию, и в других смертных грехах. Сами же они считали, что у России особый путь, отличный от Запада, что русскую историю испортил Петр I, и звали вернуться назад к допетровским временам. Встречу Гоголя с Белинским сочли бы изменой. Поэтому Гоголь и соблюдал конспирацию.

В назначенный день Белинский пришел к Прокоповичу, и надо было видеть, с какой нежностью смотрел «неистовый Виссарион», гроза литераторов, на исхудалое, бледное лицо Гоголя, как ловил каждое его слово. Гоголь был для Белинского надеждой русской литературы. Благодаря обличительным творениям Гоголя мог он, Белинский, убедить читателей в гнусности российской действительности и необходимости перемен. «Ваш талант — великий талант, — писал Белинский Гоголю незадолго до этой встречи. — Объяснение всего этого даст мне возможность сказать дело о деле... Конечно, критика не сделает дурака умным и толпу мыслящую; но она у одних может просветлить сознанием безотчетное чувство, а у других — возбудить мыслью спящий инстинкт. Первая железная дорога в России: Петербург — Павловск

Гравюра Л. Тюмлинга. 1830-е годы. Гоголь.

Портрет работы А. Иванова. 1841 г.

Но величайшею наградою за труд для меня может быть только Ваше внимание и Ваше доброе, приветливое слово... Вы у нас теперь

один, — и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с Вашей судьбою: не будь Вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества».

Главное, для чего Гоголь заехал в Петербург, было издание собрания его сочинений в четырех томах. Он решил их печатать в Петербурге и поручить это Прокоповичу. Собрание сочинений Гоголя. 1842 г

. Титульный лист первого тома.

В собрание сочинений вошло и старое, и новое. Много из старого совершенно переработал. Он вообще считал, что над каждой вещью надо работать длительно, с перерывами, давая ей отлежаться и потом берясь снова. Однажды он рассказал, как он пишет и как, по его мнению, следует писать:

«Сначала нужно набросать все как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает.

Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и где не хватает места — взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час — вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз — как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему,

восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художественно законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев:

зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина».

«Тараса Бульбу», которого все считали шедевром, переписал он заново. Шесть раз переписывал «Ревизора», пока достиг желаемого. Переписал и «Портрет», от которого, по его словам, «осталась одна только канва».

Летом 1837 года Гоголь просил Прокоповича переслать ему с капитаном какого-нибудь иностранного корабля, идущего в Ливорно, оставленные в Петербурге «рукописные книги» и тетради. «Мне очень нужны они, и без них я как без рук. Там у меня выписки и материалы всего». В эти книги и тетради заносил он всевозможные сведения, меткие словечки, выражения, подслушанные разговоры. Например, такие:

«Разговор рыбаков, тянущих невод. Один. Слышь, давеча щуку в три пуда вытащили. Другой с другого конца. Сгоните его с того места, оно хвастливо. Первый. Да что, ведь разве в три пуда щук не бывает? Ведь сюда больших пускали. Второй. Какое пускали. Попы черта

пускали». Или такое: «Начальника над артельщиками выбрал мастер, и на вопрос: Зачем выбрали, хорош поведением, что ли? — Нет, нехорош. — Не пьет, что ли? — Нет, пьяница. — Умен? — Нет, не умен. — Так что ж он? — Повелевать умеет».

И вот новый «Портрет», переписанный Гоголем за тысячи верст от России, наполнился живыми чертами жизни, петербургской жизни, сбереженными и в памяти и в записях. Взять хоть такой пример. Если в первом «Портрете», напечатанном в «Арабесках», художник Чартков становится знаменитым каким-то таинственным, непонятым образом, то теперь свою известность приобретает весьма обычно. «На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час „почтенейший“, пожалвавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах, статья с таким заглавием:

О необыкновенных талантах Чарткова». Зимнее утро. Чиновник.

Этюд П. Федотова. 1840-е годы.

Все здесь от начала до конца списано с натуры. «Ходячая газета» — это «Северная пчела». «Любезный журналист», называющий всех «почтенейший», — Булгарин. Иван Иванович Панаев рассказывал в своих воспоминаниях: «Когда Кукольник подвел меня к Булгарину, Булгарин схватил меня за руку и, как-то спотыкаясь почти на каждом слове, скороговоркою произнес, брызгая слюнями. — Очень рад, очень рад, почтенейший!» И объявление о новоизобретенных сальных свечах, упоминаемое в повести, Гоголь тоже видел в «Северной пчеле». Оно было напечатано в отделе «Смесь» двадцатого января 1834 года. Булгарин за известную мзду охотно расхваливал магазины, рестораны, купцов, фабрикантов, их изделия. Чего стоила, например, хвалебная ода кондитерскому магазину «? !? Репомт?е», помещенная в «Пчеле» в том же году: «Ни один магазин в Петербурге не привлекает столько покупателей на праздники, как находящийся в доме Вебера на Невском проспекте, известный под именем „? !? Репомт?е“. Конфеты и различные игрушки, делаемые из сахара и шоколада, превосходят все, что только было лучшего в этом роде... Не говорю о ликерах, о плодах в сахаре и спирте! Если бы древний Лукул, плативший по миллиону сестерций за одно блюдо, заглянул из могилы в этот магазин, то пришел бы в посмертное отчаяние! В этом магазине находится все превосходное для потехи четырех чувств: зрения, вкуса, осязания и обоняния». В таком же духе превозносила «ходячая газета» таланты Чарткова и зазывала к нему заказчиков. «Шинель»

. Рисунок Б. Кустодиева. 1909 г.

В третий том собрания сочинений вошла новая повесть «Шинель». Гоголь писал ее более двух лет, главным образом за границей. Но породил эту повесть тот же Петербург. Как-то на Малой Морской один из гостей Гоголя рассказал собравшимся канцелярский анекдот, в основе которого лежало истинное происшествие. Бедный чиновник, страстно любивший охоту на уток, мечтал купить хорошее ружье. Он во всем себе отказывал, трудился сверх должности, накопил наконец нужную сумму и осуществил свое намерение. На маленькой лодочке, на носу которой лежало драгоценное ружье, пустился он по Финскому заливу за добычей. Заплыл далеко и вдруг с ужасом обнаружил, что потерял свое сокровище. Ружье, верно, стянули в воду густые тростники. Поиски были безрезультатны. Чиновник с горя слег. У него началась горячка. Узнавшие об этом товарищи сложились, купили ему новое ружье и тем возвратили к жизни.

Гости Гоголя смеялись.

Гоголь не смеялся. История показалась ему невыразимо грустной.

Но ружье как-никак — предмет роскоши. А шинель...

Гоголь сам одну из первых зим в Петербурге «отхватил» в летней шинели. Он знал, что значило для бедняка чиновника, получающего тридцать рублей в месяц, сшить новую шинель. Известен был случай: в 1831 году петербургский чиновник Жуков подал жалобу на портного мастера, отказавшегося чинить его старую шинель.

Шинель отправили на оценку в петербургский портной цех.

И там заявили, что оценить ее нельзя — уж больно изношена.

А что сшить новую стоит сто десять рублей. «Шинель».

Рисунок Кукрыниксы. 1951 г .

Герой «Шинели» — нищий, забитый чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин — с превеликим трудом «построил» новую шинель взамен своего старого изношенного «капота», который портной Петрович отказался чинить. И эту-то шинель отняли грабители. А когда Акакий Акакиевич обратился за помощью к «значительному лицу», генералу, тот так распек его, что несчастный со страха заболел и умер.

Никто еще в русской литературе не потрясал сердца читателей такой мучительной болью за беззащитного, униженного «маленького» человека, за его безотрадную судьбу, как Гоголь в «Шинели»...

Гоголь пробыл в Петербурге всего две недели и снова уехал за границу. Но где бы он ни был, он писал о России, думал о России, принадлежал России. «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему».

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

В начале октября 1848 года Гоголь писал из Петербурга Погодину: «Вот тебе несколько строчек, мой добрый и милый! Едва удосужился. Петербург берет столько времени. Езжу и отыскиваю людей, от которых можно сколько-нибудь узнать, что такое делается на нашем грешном свете. Все так странно, так дико... Я нахожусь точно в положении иностранца, приехавшего осматривать новую, никогда дотоле невиданную землю: его все дивит, все изумляет и на всяком шагу попадаетеся какая-нибудь неожиданность».

Шесть лет не был Гоголь в Петербурге. Весною 1848 года он вернулся в Россию, чтобы больше не покидать ее. Побывал дома в Васильевке, жить решил в Москве, заехал и в Петербург.

Позади были годы скитаний. Шесть нелегких лет. Он писал и переписывал второй том «Мертвых душ», и не мог его закончить. Умел писать только правду. А тут задался целью изобразить бескорыстного помещика, отца своих крестьян, благородного откупщика, воскресшие мертвые души, переродившихся Плюшкина, Собакевича, Чичикова — и не мог... Чувствовал безжизненность, фальшь написанного, уничтожал его, жег. И терзался бессилием.

Все эти годы думал о русской жизни, о путях России, считал себя ответственным за ее судьбу.

Европа бурлила. В Европе лилась кровь. Новое, неслыханное овладевало умами: социализм,

коммунизм... Он, как и его московские приятели, поклонники исконной Руси, считал это ложным, опасным и вредным. Метался в поисках. Обратился к религии. Гоголь.

Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова. 1852

Один, вдали от России, от ее лучших умов, бродил, как в потемках. Написал злополучную книгу, плод трагических заблуждений, ставшую для него источником терзаний и горести. Эта книга называлась «Выбранные места из переписки с друзьями». В ней он отказывался от своих прежних сочинений и пытался проповедовать.

Вся передовая Россия восстала против него. Белинский в журнале «Современник» сурово осудил эту книгу. Гоголь написал ему письмо, отправил Прокоповичу, чтобы тот передал Белинскому. В. Г. Белинский.

Рисунок К. Горбунова. 1843 г.

Смертельно больной Белинский лечился в это время в Германии, в Зальцбрунне. Прокопович переслал ему письмо туда.

Прочитав письмо Гоголя, Белинский сказал жившему с ним Анненкову:

— А он не понимает, за что люди на него сердятся. Надо растолковать ему. Я буду ему отвечать.

Три дня писал Белинский свое письмо к Гоголю. Работал с таким же пылом, как над срочной статьей, только с той разницей, что не боялся цензуры. От волнения так уставал, что принужден был отдыхать. Письмо вышло большое, на многих страницах.

Окончив, Белинский прочитал его Анненкову. «Я испугался, — рассказывал Анненков, — и тона, и содержания этого ответа, и, конечно, — не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание». Письмо Белинского Гоголю 15 июля 1847 г. Список, страница первая.

«Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею странюю, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса, — писал Белинский Гоголю. — И Вы имели основательную причину хотя на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видели самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видели Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении ее, все враги Ваши — и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.), — и литературные, которых имена Вам известны...

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед.

Вот почему звание писателя у нас так почетно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров... И публика тут права: она видит в русских

писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадитесь вместе со мною падению вашей книги!..

Если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напоминали бы Ваши прежние».

Так заключал Белинский свое письмо. Только великий гнев и великая любовь могли породить эти строки.

Бледный, похолодевший, со лбом, покрытым испариной, читал Гоголь письмо Белинского. Он долго не отвечал. «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено... Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды... Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь».

Вернувшись на родину, он ходил по Петербургу, искал старых знакомых, жадно расспрашивал обо всем.

Сколько новых имен явилось в литературе: Герцен, Некрасов, Тургенев, Гончаров, Григорович, Достоевский... Д. В. Григорович.

Литография В. Тимма. 1850-е годы. И. И. Панаев.

Литография В. Тимма. 1850-е годы.

Они все печатались в журнале «Современник». После смерти Пушкина журнал этот влачил жалкое существование. Издавал его Плетнев. Но с недавних пор «Современник» от Плетнева перешел к Некрасову, и Некрасов вдохнул в него новую жизнь. Здесь последние годы печатался и Белинский.

Самого Белинского уже не было в живых. Он умер от чахотки за несколько месяцев до приезда Гоголя. Но молодые писатели, его друзья и соратники, трудились в полную силу.

Они шли по пути, проложенному им, Гоголем. Он был их предтечей. Покойный Белинский совсем недавно писал: «Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унижить названием натуральной».

Живя за границей, Гоголь старался следить за тем, что пишут в России. Еще в 1845 году он просил Александру Осиповну Смирнову купить для него и прислать книгу «что-то вроде „Петербургских сцен“ Некрасова, которую очень хвалят и которую бы мне хотелось прочесть». И. А. Гончаров.

Литография В. Тимма. 1850-е годы. И. С. Тургенев.

Рисунок К. Горбунова. 1846 г.

Он имел в виду изданный Некрасовым «Петербургский сборник», где были напечатаны «Бедные люди» Достоевского, рассказ Тургенева «Три портрета», его поэма «Помещик», стихотворение Некрасова «В дороге», статьи Белинского и Герцена. А. И. Герцен.

Рисунок А. Витберга. 1836 г.

«Вы упоминаете, — писал он Анненкову в 1847 году, — что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди

всех партий отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время... Известите меня, что он делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений». Гоголь надеялся познакомиться с Герценом в России. Но Герцен не вернулся на родину. Он остался за границей, чтобы бороться за свободу России.

«Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, — просил Гоголь Анненкова, — чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя, я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем

замечательный и обещает большую деятельность в будущем». Н. А. Некрасов

. Рисунок И. Захарова. 1843 г .

Теперь, в Петербурге, Гоголь захотел познакомиться с молодыми писателями. Встретился с ними у учителя словесности Комарова — приятеля Прокоповича и Белинского. Комаров жил в той части Петербурга, где стоял Измайловский полк. Улицы здесь назывались по ротам. Квартира Комарова была в десятой роте Измайловского полка, в доме Межуева. Пришли Некрасов, Гончаров, Григорович, Панаев. Новые писатели... Пытливо вглядывался Гоголь в их лица, расспрашивал об их сочинениях. «Потом, — рассказывает Панаев, — он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые „Письма“ писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами».

Гоголь провел в столице около трех недель и уехал в Москву.

Больше в Петербурге ему быть не довелось. * * *

Прошло три с половиной года.

Двадцать первого февраля 1852 года в Петербург из Москвы по телеграфу было передано известие, что в восемь часов утра скончался Гоголь.

В тот же день Иван Сергеевич Тургенев писал из Петербурга в Париж своему другу Полине Виардо:

«Нас поразило великое несчастье: Гоголь умер в Москве, — умер, предав все сожжению, — все — 2-й том „Мертвых душ“, массу оконченных и начатых вещей, — одним словом, все. Вам трудно будет оценить как велика эта столь жестокая, всеобъемлющая потеря. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в настоящую минуту. Для нас это был более, чем только писатель: он раскрыл нам себя самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого».

Никто точно не знал, от чего он умер. Он был еще совсем не стар — сорок третий год... В свои последние дни он ничего не ел и ни с кем не говорил. Умер, как и жил, — нищим. В чужом доме, у чужих людей. Все его имущество уместилось в одном чемодане. Перед смертью он сжег свои рукописи, среди них второй том «Мертвых душ».

Тургенев писал в Москву Ивану Аксакову: «Эта страшная смерть — историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать, но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам, — ни одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу целого

народа, и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления „Мертвых душ“».

Вся Москва хоронила Гоголя. Гроб до самого кладбища несли на руках.

— Кого это хоронят, — спросил прохожий, встретивший бесконечное погребальное шествие, — неужели это все родные покойника?

— Хоронят Гоголя, — ответил один из студентов, шедших за гробом, — и все мы его кровные родные, да еще с нами вся Россия.

А в Петербурге правительство весьма осердилось, узнав о торжественных похоронах Гоголя. Николай уже больше не смеялся «Ревизору». Сочинения Гоголя опасны, чрезвычайно опасны, не менее опасны, чем зловредные статьи Белинского. Гоголь, оказывается, — глава новой литературы, «натуральной школы», сеющей крамольные мысли. А отсюда распоряжение — Гоголя не превозносить, о Гоголе молчать.

Но молчать не хотели. Тургенев написал о смерти Гоголя статью и отдал ее в газету «Санкт-Петербургские ведомости». Прошло несколько дней, статья не появлялась. Встретив на улице издателя «Ведомостей» Краевского, Тургенев спросил, что бы это значило.

— Видите, какая погода, — ответил Краевский многозначительно, — и думать нечего.

— Да ведь статья самая невинная.

— Невинная ли, нет ли, — возразил издатель, — дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать.

Статью Тургенева запретили.

«Как! — возмущенно писали из Москвы. — Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался! Это молчание постыдно!» Тургенев переименовал свою статью в «Письмо из Петербурга» и отправил в Москву.

«Гоголь умер! — какую русскую душу не потрясут эти два слова? — Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, — пришла эта роковая весть! — Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!»

Так писал Тургенев. Когда царь узнал о поступке Тургенева, он распорядился автора «Письма из Петербурга» посадить под арест, а затем выслать из столицы на родину под присмотр властей. Тургенева месяц продержали на гауптвахте, а потом отправили в Орловскую губернию.

Несмотря на запрет, отклик на смерть Гоголя все же появился и в петербургском журнале. Это было стихотворение Некрасова в «Современнике». Цензор запретил его название — «На смерть Гоголя». Но и так было ясно, о ком идет речь.

Блажен незлобивый поэт,

В ком мало желчи, много чувства!

Ему так искренен привет

Друзей спокойного искусства...

Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь.
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобрения
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья.

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,

Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
И, только труп его завидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

ВСТРЕЧИ С ГОГОЛЕМ

Что сохранил наш город с тех пор, когда жил в нем Гоголь? Что воскрешает в памяти страницы жизни автора «Невского проспекта» и «Шинели»? Многое.

До сих пор на улице Плеханова, бывшей Большой Мещанской, стоит дом, принадлежавший некогда каретному мастеру Иохиму. Ныне это дом № 39. Он все такой же с виду, как и в те дни, когда по одной из его лестниц взбирался к себе на четвертый этаж юный Гоголь. Здесь была пережита неудача с «Ганцом Кюхельгартенем», задуманы «Вечера на хуторе».

Огромный старинный дом на Мойке, где помещался департамент государственного хозяйства и публичных зданий — первое место службы Гоголя, тоже сохранился. Теперь это — Мойка, дом № 66, угол переулка Антоненко. Здесь впервые столкнулся будущий писатель с нравами петербургских департаментов, увидел прообразы Поприщина, Башмачкина, «значительных лиц» и других своих героев. Улица Гоголя.

Фотография. 1973 г.

По-прежнему украшает набережную Невы на Васильевском острове прекрасное здание Академии художеств, куда с таким волнением и радостью спешил некогда Гоголь. Здесь будущий автор «Невского проспекта» и «Портрета» знакомился с художниками, узнавал их жизнь.

На нынешнем Загородном проспекте сохранился без изменений небольшой трехэтажный дом купца Тычинкина, где снимал квартиру Дельвиг и была редакция «Северных цветов» и «Литературной газеты».

Здание Патриотического института тоже существует поныне. Сколько раз здесь молодой учитель Гоголь рассказывал своим ученицам увлекательные истории из жизни разных народов. «Незабвенный Николай Васильевич» — так называли своего бывшего учителя в письмах к Анне Васильевне и Елизавете Васильевне выросшие «патриотки».

Вблизи Ленинграда, в городе Пушкине (бывшем Царском Селе), на углу Пушкинской улицы и улицы Васенко, как и полтора века назад, стоит одноэтажный деревянный дом с просторной верандой и мезонином. Это бывший дом Китаевой. В нем теперь музей. Здесь летом 1831 года жил на даче Пушкин с молодой женой, и сюда из Павловска приходил к нему Гоголь.

О первых литературных успехах автора «Вечеров на хуторе» напоминает дом № 22 по Невскому проспекту, бывший дом Лютеранской церкви. Здесь была книжная лавка и библиотека Смирдина. Сюда на новоселье вместе с другими литераторами приглашен был Гоголь. Здесь продавались его сочинения. Здесь покупал он книги для своей библиотеки.

Небольшой дом Лепена на Малой Морской улице, где Гоголь прожил три года до отъезда из Петербурга, совсем не изменился. На фасаде его мемориальная доска с высеченным на ней профилем писателя и надписью:

В этом доме
с 1833 г. по 1836 г.
жил
Николай Васильевич ГОГОЛЬ

Дом № 17 по улице Гоголя (бывший Лепена).

Фотография. 1973 г. Бюст Гоголя в Саду Трудящихся.

Фотография. 1973 г. Место закладки памятника Гоголю на Манежной площади.

Фотография. 1973 г.

Теперь это дом № 17 по улице Гоголя. Так в годы Советской власти названа Малая Морская.

Старого дома на Кабинетской улице, где временно помещался Петербургский университет и читал лекции Гоголь, не существует. Но в главном здании Ленинградского университета на Университетской набережной, в одной из старых аудиторий, прикреплена памятная доска:

1809–1852

памяти Николая Васильевича

ГОГОЛЯ

Адъюнкт-профессора С. П. Б. Университета

1834–1835 г.

Совет Университета

1909 г.

В большом университетском коридоре среди портретов и бюстов прославленных профессоров есть и портрет Гоголя.

В наши дни, как и в тридцатые годы прошлого века, привлекает внимание всех идущих по Невскому проспекту прекрасное здание театра в глубине небольшой площади. Это старейший театр Ленинграда — бывший Александринский, ныне театр драмы имени А. С. Пушкина. На его сцене впервые был поставлен «Ревизор». Здесь пережил Гоголь немало

горьких минут. Когда, расстроенный, взволнованный, писал он «Театральный разъезд, после представления новой комедии», он видел это здание, толпу, выходящую из зрительного зала, слышал ее голоса. Действие «Разъезда» происходит в сенях Александрийского театра.

Гоголевский Петербург. Блестящий, лживый Невский проспект, сумрачные Мещанские, суетливая Садовая, убогая Коломна... Гоголевский Петербург давно канул в вечность. Город стал иным. Но невидимые нити тянутся туда, в прошлое. Улицы, проспекты, переулки, дома ведут неторопливый рассказ. Тем, кто умеет их слушать, они поведают немало увлекательного.

В Саду Трудящихся, вблизи Адмиралтейства, на пьедестале бюста Гоголя высечены его слова:

Знаю — имя мое после меня

будет счастливее меня.

Это пророческие слова. Имя Гоголя живет. Его творения бессмертны.

На одной из центральных площадей Ленинграда — Манежной — заложен памятник Гоголю. Хочется думать, что это будет достойный памятник. Гоголь его заслужил.

Примечания

1

Так первоначально назывался «Домик в Коломне».

2

Хозрев-Мирза — персидский принц, приезжавший в Петербург в 1829 году.

3

Пушкин имел в виду «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

4

Солдат.